

МИРЫ Г. Л. ОЛДИ



ГЕНРИ ЛАЙОН
ОЛДИ

МАГ
В ЗАКОНЕ
Том 1

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ



Воровской цикл

Генри Олди

Маг в законе. Том 1

«Автор»

1999

Олди Г. Л.

Маг в законе. Том 1 / Г. Л. Олди — «Автор»,
1999 — (Воровской цикл)

Один из лучших романов Г. Л. Олди, написанный на стыке альтернативной истории, фэнтези и утопии-антиутопии, – прежде всего притча. Притча о Великой Державе и Маленьких Человеках, о том, как слепые ведут слепых, и том, что нет ничего нового – ни под солнцем, ни под луной. Но маги и Российская империя начала века? жандармы, чей служебный «профиль» – эфирные воздействия?! колдуны-каторжане?! Впрочем, Олди, как всегда, не ищут легких путей – а намеренно усложняют свою задачу, чтобы потом постепенно выходить из лабиринта хитросплетений, порожденных их неудержимой фантазией.

© Олди Г. Л., 1999

© Автор, 1999

Содержание

Книга первая	6
Круг первый	7
Прикуп	7
I. Двое, или Шестерки-козыри	9
II. Рашка-княгиня, или Бабы-девки вдовы Сохачихи	11
III. Друц-лошадник, или Пьянь кудлатая да ребра двойные	14
IV. Рашка-княгиня, или Эх, Лешиха моя...	19
V. Друц-лошадник, или Дорога на Большие Барсуки	23
VI. Рашка-княгиня, или Бубновый марьяж	30
VII. Друц-лошадник, или Рупь с полтиной	34
Круг второй	39
Прикуп	39
VIII. Рашка-княгиня, или Шептухины отвары	41
IX. Друц-лошадник, или Последний парад наступает	45
X. Рашка-княгиня, или Ай, мама, грустно было...	50
XI. Друц-лошадник, или Искусительница	58
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Генри Лайон Олди Маг в законе. Том 1

*He walked amongst the Trial Men
In a suit of shabby grey;
A cricket cap was on his head,
And his step seemed light and gay;
But I never saw a man who looked
So wistfully at the day.*

*I walked, with other souls in pain,
Within another ring,
And was wondering if the man had done
A great or little thing,
When a voice behind me whispered low,
«That fellow's got to swing».*

*Oscar Wilde
«The ballad of Reading Gaol»*

*И вот он шел меж подсудимых,
Весь в серое одет.
Была легка его походка,
Он не был грустен, нет,
Но не видал я, чтоб глядели
Так пристально на свет.*

*С другими душами чистилищ,
В другом кольце, вперед,
Я шел и думал, что он сделал,
Что совершил вон тот, —
Вдруг кто-то прошептал за мною:
«Его веревка ждет».*

*Оскар Уайльд.
«Баллада Рэдингской тюрьмы»
Перевод К. Бальмонта*

Книга первая

Да будет путь их темен и скользок...



Круг первый Снега Кус-Кренделя

– *Магия?! Ненавижу!!!*
Опера «Киммериец ликующий»,
ария Конана Аквилонского

Прикуп

Господин полуполковник изволили размышлять.

Дура муха, вконец обалдев от ранней северной осени, вела себя хмельным побродяжкой, набравшимся сивухи на дармовщинку, – взлетала, садилась на бумаги, суча лапками, надсадно жужжала, ползала туда-сюда, тщась вкусить последние радости жизни, что остались на ее недолгом мушином веку. Господин полуполковник поморщились, не глядя мазнули рукой по воздуху; тесно сжали кулак и поднесли его к уху. В кулаке звенела, текла слезным трепетом назойливая букашка-глупость, которой так и так осталось лишь умирать – минутой раньше, минутой позже, какая разница? Толстые, поросшие жестким рыжим волосом пальцы разжались, даруя мухе свободу, и снова – взмах, кулак-тюрьма и истошное жужжание, вопль о пощаде.

Рука резко дернулась. Тельце мухи ударилось о паркет канцелярии, и мгновением позже сверху опустилась подошва сапога.

Все.

Конец.

Господин полуполковник лениво подергали себя за бакенбарды и продолжили умственную деятельность.

– В-ваша бдительность! – В дверь сунулась мерзкая харя в сбитой на затылок фуражке, воняя кислой капустой и утренним перегаром. – В-ваша бдительность!.. Так что изволите ведать: от ихнего высоконачалия, господина обер-полицмейстера, к вам личный курьер с пакетом! Велите пускать?

– Пусть обождет.

– В-ваша... так ведь это самое...

– Пшел вон! – не повышая голоса, бросили господин полуполковник прямо в харю, и та, пискнув, исчезла. Как не бывало. По долгу службы покидая столицу, господин полуполковник терпеть не могли провинциальных канцеляристов, «сухарников», как тех презрительно звали зачастую прямо в лицо, – липких до тошноты, с их беспробудным пьянством, грязными манжетами и грамматическими ошибками в анонимных доносах. «Асмелюсь дависти до вашего свединия...» – и красный носишко роняет каплю на измаранный лист. Все, что есть в мире хорошего и великого, – увы! – стоит на мерзости, на фундаменте из пошлости и тупости, но только дурак будет радоваться, спускаясь с постамента на землю, сплошь изрытую червями.

Да-с, только дурак.

Господин полуполковник расстегнули два верхних крючочка воротника, подбитого алым сукном, повертели головой на манер чинского болванчика (говорят, это у них, у азийцев-хитрованов, писано: кто поймает муху на лету, тот совершенный человек!.. Пустяки, глупозвонство, и все!..) – и вновь углубились в размышления.

Две пухлые папки лежали на столе. Одна была раскрыта на второй странице, и если тихонечко, не дыша, встать за спиной у господина полуполковника, если поправить на носу пенсне кончиком пальца или просто взглядеться повнимательнее, то можно было прочесть:

«...он же Дуфуня Друц-Вишневецкий, он же Франтишек Сливянчик, бродячий цирюльник, он же Ефрем Жемчужный, кузнец из Вильно, он же Бритый. Пятьдесят шестого года, вероисповедание не определено, по происхождению – ром из сильванских таборов. Маг-рецидивист; криминальная «масть» – конокрад, Валет Пик. Три судимости, последнюю отбывает в каторжном остроге Анамаэль-Бугряки; участие в убийстве купца второй гильдии Трифушкина Никодима Анисимова¹ довести не удалось; оставлен под подозрением... поведение примерное, раздатчик на кухне, в хищении провизии не замечен... по отбытии наказания срока рекомендовано...»

Перед смертью, перед полетом в небытие муха как раз ползала между строками «ром из сильванских...» и «...последнюю отбывает в каторжном...».

Господин полуполковник покусали нижнюю губу, отчего усы их бдительности встопорщились аккуратно подстриженной щеточкой, после откинулись на спинку кресла и устремили взгляд в потолок.

Глаза господина полуполковника были странного, грязно-болотного цвета, и знающие люди говорили, что тонуть в этом стоячем взгляде ничуть не более приятно, нежели в таежных зыбунах. Знающие люди говорили, но тихо, незнающие помалкивали себе, а женщины, которым судьба даровала возможность сойтись с господином полуполковником в делах амурных, – женщины и вовсе ничего не говорили о грязно-болотных глазах, вспоминая о другом. Тем более что глаза оные чуждо смотрелись на оливково-смуглом, горбоносом лице господина полуполковника – сюда б более подошел карий, томно-влажный взгляд красавца из краев, где растут лимоны с померанцами и красотки долго возятся с многочисленными юбками, прежде чем отдаться возлюбленному.

Да, изрядно хороши собой были господин полуполковник, до неприличия хороши, до обиды на стерву фортуны, что одним дает все, а другим шиш с маслом, и то с прогорклым! Вольный разворот плеч, гордая осанка так и говорит: «А пощечину, каналы, не желаете-с?!», рост гренадерский, но без излишней долговязности – ах, падали дамские сердчишки к сапогам, словно осенняя листва под лаской ветра, кружились в безумной мазурке... «Завидный жених! – шептались втихомолку, за вистом, почтенные отцы семейств, где прозябали дочки на выданье. – Годы? О чем вы, почтеннейший?! Какие такие годы?! Самый сок, мужская пора долгая... мы и сами в его-то годы... эх!»

Что эх, то эх.

Бывало, коли не врут.

Пальцы, густо поросшие рыжим волосом, отложили раскрытую папку в сторону; раскрыли вторую.

«...Рашель Альтшуллер, она же запольская мещанка Смальтова Брынных Раиса Сергеевна, она же Эльза, баронесса фон Райхбен, она же Рашка Княгиня. Пятьдесят девятого года, вероисповедание – авраамитка-реформистка, но при необходимости свободно пользуется любыми религиозными отправлениями иных вер и конфессий; родом из местечка Головлино Анабургского уезда. Маг-рецидивист, криминальная «масть» – воровка на доверии, Дама Бубен; была подана в международный розыск властями Пруссии и Манхеймского княжества. Ныне отбывает... поведение примерное, староста барака, в нарушениях лагерного распорядка замечена не... по отбытии наказания рекомендовано...»

Господин полуполковник встали. Оправили серебристый кушак с тяжелыми кистями, коим был подпоясан лазоревый, безукоризненно подогнанный опытным портным мундир их бдительности; пуговицы, по шесть в ряд, опять же серебряные, сверкнули лихим огнем, бросив отблески на яркую выпушку по обшлагам и борту. Кажется, на пуговицах была чеканена рука,

¹ Недворяне писались в документах по отчеству без «ича».

мускулистая рука с мечом, и две сплетенные руны под рукоятью... Нет, не кажется: вот и на петлицах знакомые руны, меч и рука.

«Варвар», Е. И. В.² особый облавной корпус при Третьем отделении.

Краса и гордость.

А также врожденная нечувствительность к эфирному воздействию, о чем непременно указывалось в личных циркулярах еще при зачислении в училище.

Помедлив, господин полуполковник взяли перо, не глядя сунули его в чернильницу – и жирно, летящим почерком, выдававшим, согласно мнениям графологов, характер сильный и неукротимый, написали поверх заключения, что лежало здесь же, на краешке стола:

«Коменданту каторжного острога Анамаэль-Бугряки. По отбытии наказания перевести указанное лицо на поселение, под гласный надзор. Местом поселения приказываю назначить Мордвинский уезд, деревню Кус-Крендель».

Повторили процедуру.

И расписались:

«Князь Шалва Джандиери, полуполковник Е. И. В. особого облавного корпуса «Варвар».

І. Двое, или Шестерки-козыри

*Удалитесь от меня все, делающие беззаконие; ибо услышал
Господь голос плача моего.*

Псалтирь, псалом 6

Ссылные шли от Шавьей трясины.

Двое.

Сосны грозились им вслед, качая рыжими сучьями, с бойкостью сельских сплетниц картавили из ельника сойки, крупные, дымчатые, с редкой розовинкой перьев по бокам; наст хрустко ломался под ногами, и поземка усердно заметала рытвины, стелясь хвостом невиданной седой лисы.

А ссылные все шли, не оборачиваясь.

Двое.

Мужчина и женщина.

Руки глубоко втиснуты в карманы казенных, воняющих прелью, армяков. Затылки утонули в овчине поднятых воротников, траченные молью шапки низко надвинуты по самые брови; плечи подняты косыми углами – вот так, нахохлившись вороной, легче сбереечь жалкие крупички тепла. Лиц толком и не видно из-за косм меха снизу и вверху – не лица, страхолюдные хари с овечьим колтуном вместо шевелюры и бороды. Встретишь этакое диво, спеша уйти или рвануть ружье с плеча – авось ноги вынесут, осечка минет!..

Впрочем, местный народишко был не из пугливых. И не удивился бы никто: отчего бредут себе ссылные без солдат-конвоиров, без глазу-досмотру? Без кандалов – ин ладно, не арстанты этапные, по здешним горкам-пригоркам, падунам да распадкам и вольными ногами не больно-то походишь, ежели не обучен!.. Шагайте себе, родимые! Вон и сосны вам грозятся, и сойки почем зря обкладывают, и поземка шебуршит – какой еще конвой надобен? К беглым здесь давно привыкли: и жители окрестных сел, и лободыры-плотогоны, и солдаты, поиздержавшиеся одежкой так, что их самих нередко принимали за беглецов с каторги.

Далеко ли уйдешь по снегу-морозу? По болотным трясинам шибко ли попрыгаешь, от кочки к кочке? Славно ль укроешься в хозяйской берлоге с мохнатым дедушкой?

Беги-и-и... беги, дураш-ш-шка... пошуршишь да вернеш-ш-шься...

² Его Императорского Величества. В дальнейшем, вплоть до прямой речи, используется сокращение «Е. И. В.», ибо в сей период аббревиатуры стали входить в моду как в документах, так и в частных беседах.

Ссылные шли, не держа обиды на издевательское пришепетывание ветра, от Шавьей трясины к деревне со смешным названием Кус-Крендель.

Двое.

Мужчина и женщина.

Прародители рода людского, изгнанные из каторжного рая ангелом-меченосцем, трижды проклятые вслед за Добро и Зло, от коего вкусить довелось лишь чуточку, малый краешек... ах да, иным и вовсе-то кусочка не досталось, вот и злобятся!..

– Акулька! – визгливо донеслось с окраины деревни, где замурзанные чада кускрендельчан, похожие в своих тулупах и не на детишек-то вовсе, а скорее на леших-недомерков, уже заприметили идущих людей. – Акулька, дура, слышь! К Федюныше ссылочную подселили! Айда смотреть!

– К Сохачам ссылочную! Бабу к Сохачам, а варнака к Акулькиной матке! Айда!.. – раскатилось дробью в ответ, и еще кто-то, видать совсем малой, без дела захныкал в голос.

Вся деревня знала еще третьего дня, сразу после приезда урядника: вдове Сохачихе с крестным сыном да семейству Филата Луковки, где мал мала меньше и все жрут в три горла, счастье на пустом месте привалило. В смысле, значит, счастье и есть. Ежедневного довольствия по три фунта хлеба печеного, мяса-убоины до сорока золотников, крупы же пятнадцать золотников и разных приварочных продуктов на одну копейку; а если день постный, то взамен мяса цельный фунт рыбы даден будет. Опять же на год по армяку с полушубком да из обуви четыре пары чирков и две пары бродней. Да податное послабление за добровольную подмогу державе-матушке...

Истинно сказано, счастье.

А ссыльный – не пожар, полатей не обуглит.

Пусть его живет, пока живет.

Выйдя на дорогу, ведущую от деревни к мельнице и оттого укатанную зимой санями, а летом – телегами, ссыльные зашагали быстрее. Самую малость, для вольного дыхания и согрева телесного. Мужчина дернул плечом, сбрасывая котомку пониже, прижал ношу локтем. Посмотрел искоса на спутницу, свободной рукой зачем-то коряво огладил усы, смерзшиеся липкими сосульками.

Потрескавшиеся от мороза, обметанные лихорадкой губы шевельнулись:

– Давай торбу-то... понесу...

Женщина не ответила.

– Ладно тебе, Княгиня... бари раны!..³ Давай, не ерпенься...

– Уймись, Друц.

Сказано было сухо и твердо. Так иногда хрустнет в ночном лесу, и наемный рубщик, задремавший было в избе-конторянке, встрепенется близ теплой каменки, охнет спросонок и долго еще вслушивается в лихую темень: чего ждать, братцы-товарищи? откуда? скоро ли?! В голосе женщины на самом доньшке пряталась хриплая властность, пряталась гадюкой под трухлявой валежиной, и незачем пинать укрытие от пустой скуки: ужалил без злобы и уйдет без страха.

Мужчина, которого назвали Друцем, знал это лучше многих.

Оттого и шел с той минуты до окраинных изб, не заикаясь больше о непрошеной помощи.

Просто шел.

Напевал без звука, в усы-сосульки:

Ой, ходка новая,
А масть бубновая,

³ Большая барыня (ром.).

А жисть хреновая,
Дешевый фарт!..

И поземка подтягивала за спиной, шелестела испитым многоголосьем кодлы-матушки:

И с ночи до зари
Шестерки-козыри,
Шестерки-козыри
Крапленых карт...

* * *

От избы правления ссыльные пошли врозь, каждый в свою сторону, сопровождаемые гурьбой ребятишек, также разделившихся надвое.

– Эй, Акулька, жихорица! Айда с нами варнака смотреть! И-эх!.. – все орал, повизгивал давешний крикун и, не дождавшись ответа от вздорной Акульки, бежал за женщиной, которого называли Друцем.

За женщиной увязалось совсем немного детворы.

Трое-четверо малявок да дура Акулька, вертлявая девка с мелкими, старушечьими чертами рябого личика.

Ветер гулял вокруг, шалил, закручивал фейерверк метели.

Чш-ш-ш...

II. Рашка-княгиня, или Бабы-девки вдовы Сохачихи

Так! На скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти.

Псалтирь, псалом 72

Во дворе мужик возился со старой телегой: колесо менял.

От широкой спины всюю валил пар.

Нет, не мужик, как тебе показалось сперва, – парень. Совсем молодой. Просто не по годам рослый, длиннорукий, весь какой-то корявый, словно спать за полночь лег мальчонкой голопузым, а проснулся засветло здоровенным детинушкой и теперь не знает, куда девать случайную силу.

Небось в драках на льду зачинщиком выставляют; ему свинчатку в рукавице прятать ни к чему, и без того быка кулаком валит.

Помнишь, Рашка? Тогда ты задержалась в воротах. Тесно ошупала взглядом одного из тех случайных людей, с кем теперь придется жить долго, дольше, чем хотелось бы, но куда меньше, чем... да что там зря врать самой себе! – и меньше тоже, чем хотелось бы.

Это ты знала доподлинно.

До немоты в обмороженных пальцах.

– А-а, – понимающе буркнул парень через плечо, заприметив гостью, и не добавил ничего.

Ничего.

Только крепче прикусил махорочную сигарку, оскалив крупные зубы. Да распахнул шире и без того раскрытый ворот рядовки, отчего стала видна его грудь: широкая, безволосая, вся в грязно-бурых оспинах – гнус, что ли, поел? Или болен?

Вряд ли: к таким орясинам ни одна лихоманка не липнет...

За спиной, на улице, наперебой загалдели ребятишки, но парень только повернул к ним красное от натуги лицо, и всю толпу как ветром сдуло.

– Леший! – снежной кутерьмой прыснуло вдоль изб. – Федюньша-лешак, неприятная сила! Ишь, страшной! Беги-и-и-и!..

Ты прошла мимо парня, вернувшегося к своему занятию; поднялась на крыльцо. Дышать на мгновение стало трудно; горло, как ствол дедовского ружья, забили наглухо мохнатым пыжом, и ты испугалась – не приступ ли? Ах, сейчас совсем некстати... Но ружье пальнуло вхолостую раскатами хриплого кашля, комки мокроты шмякнулись в сугроб рядом с крыльцом, и животворный воздух вновь пошел в легкие.

– А-а, – еще раз сказал парень, как если бы понял что-то, никому, кроме него, не ведомое; после чего коленом толкнул вперед смоленое колесо.

Ты перевела дух и шагнула в сени, а затем – в полутемную горенку.

На лавке, за столом, застеленным старой, многожды штопанной скатеркой, сидела рыхлая тетка в драном полушубке. Накинутом, как сперва показалось, прямо на голое тело. Нет, на ночную сорочку, просто сорочка та была еще древней скатерки, и в прорехи обильно виднелась восковая кожа с синим узором вен.

Тетка ела тресковый рыбник, смачно чавкая.

– Здоровы будьте, – сказала ты, сбрасывая котомку к ногам.

Тепло медленно, с неохотой, просачивалось в задубевшее тело, больно копошилось под армяком, ползало себе в растоптанных броднях, ленивым хорьком покусывая кончики пальцев. Ресницы стали отгаивать, и глаза наполнились не своими слезами – плачь, Княгиня, плачь, Дама Забубенная, хоть так, а плачь, потому что плакать иначе ты давно разучилась...

– А-а, – воркотнула тетка с полным ртом, только этим ворчанием и напомнив парня во дворе.

Сплюнула в горсть мелкие косточки, кинула россыпью на столешницу и добавила густым, не по телу, басом:

– Заходь, бабы-девки, неча избу студить...

Пальцы поначалу не слушались, путаясь в крючках одежды ершами, угодившими сдуру в частый бредень. Только и удалось сразу, что шапку стянуть да на лавку, близ тетки, кинуть. Ты разозлилась. Ты сильно разозлилась, всерьез, и руки вдруг стали ловкими, а остаточный холод мигом удрал куда-то в глухие закоулки – даже не тела, а памяти, памяти о долгой дороге от Анамаэль-Бугряков, будь они неладны тройным неладом, до заимки близ Шавьей трясины, а оттуда – сюда, к тупому парняге, к тетке с ее дурацким пирогом и равнодушной неприветливостью. Армяк чудовищной птицей слетел с плеч на дощатый пол, котомка уже стояла там, утонув теперь под душной овчиной; тетка забыла жевать, уставясь на тебя выпученными глазами, – ты рассердилась, помнишь, Княгиня?! – о да, ты помнишь, ибо не успела вовремя одернуть себя.

Остановиться не успела.

Приступ остановил. Грудная жаба квакнула во всю глотку, раздувшись пузырем бородавчатым, потекла слизью, защекотала длинным, липким языком в гортани, вздувая грудь, – и когда удалось перевести дух (не скоро, ох не скоро!), то все вернулось.

Былой озноб, тяжелое дыхание, да еще скучная злоба на саму себя.

Ишь, чего удумала, каторжанка?! А на-кась дуре жизнью по роже, да с оттяжкой, да по новой, чтоб не мнила вольной горлицей, где и грачихой-то не больно выйдет!

– А на образа перекреститься – рука отсохнет?

Что-то, похожее на улыбку не более, чем огонек лучины походит на восход за рекой, явилось в теткинском голосе.

Тебе было все равно.

Ты перекрестилась.

На образа – негасимая лампада горела перед древним, закопченным ликом Троеручицы и старообрядской, ординарной иконкой Спаса Ответчика, рядом с которым робко притулился лубочный Никола Хожалец, угодник боженькин. Гнулся, играл огонек, метал бледные сполохи на серебряную ризу, потемневшую от времени, на фольговое золото кивота...

– Вре-ошь, – с удовлетворением протянула тетка, почесывая щеку плоским, сложащимся ногтем. – Как есть врешь, баба! Ты и знамение-то крестное кладешь, как я под муженьком покойным пыхла. Под этим ли, под другим – одна морока, бабы-девки... Авраамитка небось? Или вовсе язычница? Ладно, помолчь, не для ответа спрашиваю, для знакомства, значит...

Когда тетка говорила, лицо ее становилось и вовсе костяным, жестким, с резко выступающими скулами.

Голос не по телу, лицо не по голосу...

Вместо ответа ты села на лавку, напротив хозяйки.

Похоже, той понравилось; похоже, тетка наглость почитала за живучесть, уважая чужое упрямство.

– Полушалок-то скинь, бабы-девки, скинь... упаришься в хате. Вошей много?

– Много, – тускло согласилась ты, развязывая узел под подбородком.

– Вошей керосином, керосином!.. Ин ладно, бабы-девки, больше пытать не стану.

Поспеем еще, наговоримся, побранимся-помиримся... Ты гляди парнягу моего не смущай – даром што ты старая уже, молю траченная, а в зенках-то геенна огненная, черти с вилами вприсядку скачут! У-у, мажэ племя, и каторга вам мамка родная...

Тетка замолчала. Враз, как отрезало. Уставилась на твою голову. Странно: на каторге ты привыкла, что никого твоя голова не заботит, и взгляд тетки неприятно дернул зажившую было рану. Левую часть головы покрывали каштановые, сильно битые сединой волосы; правую же наголо обрили еще позавчера, перед вечерней поверкой, и теперь кожа топорщилась серебристой щетиной.

– Вона как, бабы-девки, – натужно булькнула тетка и вновь осеклась. – Вона как...

Обижаться было ни к чему. Ты разучилась обижаться. Княгиня, ты совсем разучилась обижаться! И даже это безразличное «даром што ты старая...» не слишком резануло по сердцу. Старая и есть. Четвертый десяток на самом исходе, а если судьбу на счета костяшками кинуть, то последние лета – год за два, за три, за пять, как кому сподручнее.

Не до парней.

– А-а, – знакомо пробухтело от дверей, и почти сразу, тяжелым, нутряным рыком:

– Божатушка! Телега готова, вели к купцу Ермиле идтить за кобыленкой, запрягать! Али на себе к купцову подворью оттараканить?

Упарившийся парняга вытирал лоб ручищей и все зыркал, косился на твою удивительную голову, разделенную надзирателем-цирюльником на две неравные части.

Парню было странно.

– Божатушка! Велишь али как?

Божатушка? Слово было незнакомым. Внутри заворочался привычный уголек, попыхи-вая колючими искорками; в мозгу разом все заволокло дымом, едкой копотью, и, когда ветер, налетев из ниоткуда, развеял мглу, смысл чужого, чуждого слова всплыл сразу, сразу и однозначно.

Божата, божатушка – крестная мать. Жила-была сиротка Сандрильона, и была у нее злая мачеха, а еще была добрая крестная-фея... божата, значит, фея была... божатушка Сандри-

льоны-сиротки. Это ежели сиротку сослать по этапу в Кус-Крендель да сперва выучить по-местному – или лучше не ссылать, а сразу здесь родиться.

Ты усмехнулась – криво, чувствуя боль в губах.

Эх, Сандрильона-сиротка, воровка на доверии, лучше тебе здесь не рождаться... Жаба насмешливо ворочалась в груди, в гортани, подпрыгивала, приквакивала, давала о себе знать заполошным стуком сердца, пронзительной иглой в висках, молоточками в затылке. Чужое слово просто так своим не становится, а здесь, в одиночестве, только и приходится, что себя одергивать: тпру-у-у, назад! Сгоришь, дура! Не несись вскачь к обрыву, погоди!

А когда опостылеет все, да так, что ком в горле, кол в чреве – и те за счастьешко покажутся, вот тогда и отпусти поводья. Все слова – твои, все парни – твои, все взгляды-помыслы – твои... день-два, неделя, и все погосты, какие тут есть, – тоже твои!

Да, Рашка?

Впору молиться святой Марте, покровительнице воровского мажьего племени, о смерти тихой, безгласной... услышит ли?

– Торбу с лопотьем волоки в сенную каморку. Там жить станешь, там и топчанчик есть, девки-бабы...

Ты кивнула, стараясь не зайтись в кашле.

Не получилось.

Заметки на полях

*Если внимательно заглянуть в глаза вдове Сохачихе, то можно увидеть:
...февраль.*

Сухой ельник всюю топорищится сучьями. Машет лохматыми лапами; пугает. На тропе, потерявшейся в густом сумраке, смерзлись в комья песок и хвоя; заиндевелые листья осинника в прогалинах трещат от тоски, сетуя на холод. Снега мало, лишь пороша виляет седым хвостом.

Где-то, далеко, лось бьет рогом в сушину.

И так – всегда.

* * *

– Что ж это вы зимой на телеге, вместо саней, разъезжаете? – вдруг, что-то вспомнив, спросила женщина на лавке, прежде чем отдышаться и нагнуться за котомкой.

– Дык телега-то купцова, – вместо тетки ответил парень, старательно отводя взгляд. – Вертать надоть, починенную... я, чай, и на себе сволоку, без кобылы...

И вышел вон.

III. Друц-лошадник, или Пьянь кудлатая да ребра двойные

*Сидит в засаде за двором; в потаенных местах убивает невинного;
глаза его подсматривают за бедным...*

Псалтирь, псалом 9

...Низкая, словно вдавленная в землю исполинским сапогом, изба неохотно проступила сквозь круговерть завирюхи. Снегу намело изрядно, он громоздился сугробами-шатунами к самым мутным оконцам – и лишь у крыльца (да какое там крыльцо – пара трухлявых ступенек!) был расчищен кривой проход. Ветер срывал с почерневшей, сто лет не чищенной трубы рваные

ключья дыма и спешил унести прочь, развеять в гуще снежной мглы, отобрать у людей еще малую толику тепла.

Поставлена изба была как-то несуразно: если у других на улицу выходил забор с воротами, а сама жилая постройка пряталась в глубине двора, то у Луковок их развалюха выпятилась напрямиком на улицу, большим пальцем в кукише, а двор располагался позади. Истинно говорится, все не как у людей!

Позади, перекрикиваясь, еще бежало с полдюжины душ детворы – остальные отстали раньше. Ну идет себе варнак-каторжанин и идет – чего зря пялиться? И даже куда идет – всем известно... наглядимся ужо...

Дверь оказалась незапертой, хотя и притворена была плотно. Когда ты грюкнул в нее таким же деревянным с мороза, как и сама дверь, кулаком, она слегка поддалась. Чтобы войти, пришлось нагнуться; в затекшей спине явственно хрустнуло.

– Будьте здоровы, хозяйева! Вот, к вам определили.

Взгляды. Со всех сторон, из углов, с полатей, с печи... Дети. Мал мала меньше. Сколько ж их тут?! Сразу и не сосчитаешь. Ладно, успеется.

За длинным, чуть ли не во всю горницу, столом из темных досок – двое. Нестарая, но уже сильно битая жизнью баба кутается в драный шерстяной плат, смотрит выжидательно. Что, мол, еще скажешь, варнак? Интерес. Слабый, даже для нее самой удивительный.

Рядом – мужик. Хозяин дома, значит. Рябой, в замызганной холщовой рубаше с оторванным воротом, в кургузой кацавейке. Дергает бороденку, скалится щербатой ухмылкой:

– Ну и ты, стал-быть, здоров будь, паря! Ссылочный?

– Ссылочный, – киваешь ты, двумя руками стаскивая с головы шапку.

– А кличут как?

– Дуфуней кличут. Дуфуня Друц.

– Чаво?

Бедолага, он аж слюной подавился. А баба – ничего, съела.

Бабы, они живучей.

– Зовут – Дуфуня. А по фамилии – Друц.

– Дуфуня... Это по-вашему, по-варнацки, што ли?

– Да нет, просто имя такое. От рождения. – Ты пожимаешь плечами.

В спине снова щелкает. Короткая боль. Нет, отпустило...

– Вот ить окрестили! – сочувственно качает головой хозяин. – Дуфуня! Не, я тебя лучше Друцем звать буду.

– Зови. – Тебе действительно все равно.

– Ну а я, стал-быть, Филат. За стол садись, што ли? Чекалдыкнем за знакомство...

– Я те щас «чекалдыкну», мерин сивый, ухватом по загривку! – мгновенно взвывается молчавшая до сих пор Филатова жена. – Только б zenки с утра залить, кочерыжина!

Справедливости ради надо сказать, что утро давно кончилось и мгlistый день успел перевалить за полдень. Впрочем, вслух этого говорить ты не стал: последнее дело – с порога пререкаться с хозяйкой дома!

– Да ты што, Палажка, сдурела?! Ить паря с морозу, сугреться ему надоть!

– Чаем пуцай греется! – отрезала Палажка. Обернулась к ссыльному:

– Чай есть? А то не напасемся...

– Есть. – Непослушное, окоченевшее лицо твое с трудом сложилось в некое подобие улыбки. – И чай есть, и солонина, и сухари, и даже сахара фунт – пайку на две недели вперед выдали.

Скинул котомку, начал развязывать узлы. Руки не слушались. Ты прекрасно знал, что это – не только от мороза. А дальше будет еще хуже... дальше будет всегда хуже, и никогда – лучше.

Никогда.

– Ну вот, дура баба, а ты водки жалеешь! – попрекнул жену Филат, жадно наблюдая, как ссыльный выкладывает на стол содержимое своей котомки. – Ну, Пелагея, ну, окстись, што ли...

– Ладно уж, ему – налей. А себе – на доньшке! Чай, не ты с мороза пришел!

– Да будет тебе, разоралась... Тащи кашу, стал-быть, обедать будем. Эхма, жисть наша, пропащая...

«Это точно», – подумал ты, медленно расстегивая крючки армяка.

* * *

Сивуха обожгла горло, горячим комом ухнула в желудок. На глазах выступили слезы. Да, отвык ты от хмельного, Друц-лошадник, Валет Пиковый, за пять-то лет строгой каторги, отвык едва ли не вчистую. А раньше, бывало...

Забудь, морэ!⁴

Забудь о том, что было раньше; само слово проклятое «раньше» забудь! Прошлое – отрезанный ломоть; гнить тебе отныне здесь, на поселении, пока копыта не отбросишь, а ждать этого – по всему видать, что рукой подать...

Распухшие пальцы лишь с третьей попытки уцепили кусок солонины, кинули в рот – загрызть.

– Ниче, паря, щас полегчает. Давай-ка, стал-быть, еще по одной!

– Я те што баяла, пьянь кудлатая?! Я т-те што, кочерыжина?!

– Ладно, ладно... вот ить ведьма! Наградил Боженька...

Рядом усердно стучало деревянными ложками все многочисленное семейство Луковок. Чавкали, давились, то и дело зыркая на ссыльного любопытными глазенками.

– И кудыть это Акулька запропастилась?

– А кудыть дуре деться? Ить жрать захочет – прибежит!

Хлопнула дверь. Пелагея обернулась к блудной дочери, и Филат, воспользовавшись этим, мигом хлюпнул в обе ваши кружки мутного пойла из четвертной бутылки, заткнутой комком пакли. Заговорщицки подмигнул; оскалился, стал-быть, со значением. Ты подмигнул в ответ – и едва успел в последний момент перекрыть знакомую волну, начавшую вздыматься из глубины, от низа живота и выше, к сердцу.

Плохи дела твои, Друц-лошадник! А ведь за пять лет, друг ситный, ром сивуванский, так и не приучился «в лоб» жить, без финтов. Знаешь, серьезный финт для тебя сейчас – верная смерть. Да и по крохам: разок, другой, третий – и сгоришь. Страшно сгоришь, и думать страшно, а думается. Вот и сейчас едва само не плеснуло наружу – глаза отвести вредной бабе...

Со второго раза хмель ударил в голову. По телу расплозлось приятное тепло, пальцам вернулась малая толика былой гибкости. По крайней мере, удалось легко ухватить ложку, зачерпнуть синюшной, остывшей пшенки с волокнами соленой рыбы.

Акулька – та самая рябая востроносая девка-маломерок, что увязалась за Княгиней, – получив нагоняй от матери, тоже шмыгнула за стол. Немедленно треснула по лбу ложкой одного из братьев, что попытал счастья стащить у нее сухарь, – и пошла, даваясь, глотать кашу, блестя на Друца влажным, птичьим глазом.

Хозяйка подозрительно покосилась на мужа и ссыльного. Однако сивухи в кружках давно и след простыл. Вздохнула Пелагея, безнадежно махнула рукой и вновь уселась на лавку.

– Ты, паря, стал-быть... – Филат весело дернул углом рта. – Дровишек наколоть подсобишь? Опосля жрачки?

⁴ Морэ – родич, единоплеменник; в некотором смысле – земляк (ром.).

- Подсоблю.
- Ну вот и лады...

* * *

В дровяном сарае Филат, воткнув в колоду топор, щербатый, как Филатова ухмылка, глумливо хохотнул. Извлек из-под накинутаго поверх рубахи дубленого кожуха знакомую бутылку.

Где и прятал-то, родимую? Души ведь в мужичонке на алтын с полушкой!

– Мы хучь в арестантских ротах и не парились, но тоже кой-чего можем! – осклабился хозяин. – Я и сухарей призначил, солонинки чуток... Ну што, паря, за конец твоей каторги, за жисть вольную, новую!

«Да уж, вольную! Вольнее некуда... ходи, чальный, ходи кругом, куда повод пустит!..»

Из посуды в сарае у Филата, запасливого насчет всего, что касалось выпивки, нашлась пара туесков из заскорузлой бересты. Выпили, захрустели сухарями. В сарае было холодно – не в пример холодней, чем в избе; в щели то и дело врвался колючий ветер, озоровал по углам, задувал снежную пыль.

– Топором помашу. Согреюсь. Да и твоя пусть слышит: работаем.

– Помаша, помаша! – охотно согласился хозяин.

Поначалу топор едва не вырвался из рук – запястья отозвались плохим, стеклянным хрустом, – так что Филат даже отшатнулся в испуге:

– Чего балуешь, паря?! Зашибешь ить, варначина!

Ты не ответил; ухватил топор покрепче. Вскоре дело пошло на лад. Когда на лбу наконец выступила испарина, в углу сарая уже высилась изрядная горка свеженаколотых дров. Филат тем временем, похоже, успел оприходовать новый туесок сивухи – по крайней мере, покраснелся он не хуже тебя самого, хоть и не взмахнул топором ни разу.

«На киче за такое запаadlo враз шнифт своротят», – равнодушно подумал ты. И сам поморщился. Ботать по квэнье – дело нехитрое, если ты в законе, по острогам иначе и не сложится. А вот думать... думать по-другому надо. По-разному. Иначе враз где-нибудь подловят. Пора отвыкать. Ты, морэ, теперь честный ссыльный, а не гнилой острожник, год-два, и вовсе, глядишь, в крестьянский разряд переведут; вокруг люди вольные, говорят не так, как на той же киче. Хотя отвыкай не отвыкай, все едино: год-другой (это ежели повезет!) – и загнешься, вместо разряда крестьянского...

– Взопрел, паря? Ну, дык накатим еще по одной! Эх, жисть наша пропащая...

По одной так по одной.

За жисть пропащую.

– ...За што ж тебя по этапу-то, паря?

Хотелось отмолчаться – о таком болтать что огонь хватать! – но Филат не отставал. Крепкий до хмеля оказался мужичонка; кого другого уже б с ног свалило, а этот – зарумянился только, да язык чуть заплетаться стал.

– Коня свел, – неохотно ответил ты.

– А-а, дык ты коний вор! – почему-то обрадовался хозяин.

– Лошадник, – поправил ты, отвернувшись, но Филат не обратил на это внимания.

– А у меня, един свищ, коня нету! – тут же поспешил он разъяснить свою радость. – Вот кабы ты душегубцем оказался или, стал-быть, еще што учинил...

– Там, где живешь, – не гадь, – процедил ты сквозь зубы.

Филат на некоторое время заткнулся, явно пытаясь переварить услышанное. В голове уже изрядно шумело, зато перестала наконец ныть спина и руки стали почти прежними. Конечно,

это ненадолго, но... мэ матыем, мэ матыем, ромалэ, лэ ли, да дэвлалэ... захмелел я, захмелел – ай, братцы, боже мой!..

Ты молча разлил в туюски остатки сивухи.

– Дык ить ежели коньего вора поймают, паря, то властям не сдают. Сами забивают, всем миром...

– И меня забивали – да не забили. А вот подельщика моего... Выпей, Филат, за упокой души.

– Отчего ж не выпить-то, паря? Хучь во здравие, хучь за упокой! Это мы завсегда... Эх, матушка, хороша! А правду бают, кубыть у коньих воров ребра двойные, так сразу и не перешибешь?!

– Правду.

– А вот и шавишь, паря! Не бывает у человеков двойных ребер! И все-то ты шавишь, все дым гонишь: отродясь коньих воров по каторгам не гоняли, ежели не мажьего семени... а, ну да, ты ж и есть... Еще по маленькой? У Сохачихи в долг, а?..

Заметки на полях

Если внимательно, до рези под веками, заглянуть в глаза Филату Луковке, то можно увидеть:

...июнь.

В пятнистой тени орешника бесится лайка-двухлетка. Распугивает птиц, закручивает пыль веселыми смерчками; бьет лапой жука-рогача и сама же отпрыгивает в притворном ужасе. По стволам, не обращая внимания на собаку, струятся муравьи: мелкие, скучные. Солнце падает сверху косыми полотнищами; пахнет измятой травой.

Потом лайка садится и долго воет, как над покойником.

Больше – ничего.

* * *

...Среди ночи ты проснулся от настойчивого грюканья в дверь, от пьяных голосов, слышавшихся снаружи. Хозяин, по всему видать, встать не спешил, и ты, сам не зная зачем, сунулся в сени, к дверям, отодвинул засов... И едва успел шарахнуть в сторону: перед самым носом в стену гулко бухнуло суковатое полено.

Снаружи радостно заржали.

– Ну што, Луковка, али нам не рад?

– Зенки протри, Митяй! То ж варнак ссылочный! Филата ты б черта коряжного достучался!

– Ы-ых... – разочарованно. – Ну то жихорь с ним...

Зашибло ли полено «варнака ссылочного» или нет, никого не интересовало.

– Дурак ты, паря! – сипло сообщили с печи. – Другой раз не суйся. Даром што ребра двойные – башка ить не железная! Отшибут. У нас парни такие... любят это дело. Пошутковать, стал-быть...

«А ведь не спал он, – подумал ты, укладываясь обратно на лавку. – Мог бы и предупредить, чтоб не открывал. Небось и сам это дело любит. Пошутковать, стал-быть. Похоже, в остроге и то жизнь подороже стоит, чем у этих... лесовиков...»

IV. Рашка-княгиня, или Эх, Лешиха моя...

*На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не
подвергаются ударам...*

Псалтирь, псалом 72

А ночью – Княгиня, ты помнишь?! – тебя посетил кошмар.

Старый, знакомый.

Десятки, сотни шандалов, канделябров, свечных розеток из старого серебра – и всюду истомой тает нежный воск, всплывая по предсмертному воплю фитиля, отдаваясь огню со страстью и негой безнадежности.

С открытой верхней галереи захлебываются гобои, гнусаво плачет фагот, скрипки искупают все грехи мира, опираясь из последних сил на мрачное плечо контрабаса, – вальс мсье Огюста Бернулли, последнего властителя душ, кружит головы, кружит тела... о, раз-два-три, раз-два-три, и не важно, что вальс лишь недавно утратил постыдный титул пляски развратников, совершенно не важно, потому что скрипки... и гобой... и шелест, шуршание шелка – чш-ш-ш, не мешайте...

Рядом – князь Хотинский, блестящий гусар. Ментик вполплеча, синие чакчиры, доломан сплошь расшит золотом; и над всем этим – русый кок, завитый щипцами умелого парикмахера, погибель барышень из провинции. Он что-то говорит, этот лихой красавец и дуэлист, известный всему Хенингскому герцогству, и дальше, много дальше... да, он говорит, но ты сейчас не слышишь слов.

– Милая Эльза...

И все.

Только скрипки, и гобои, и метель сумасшедшего вальса.

Не плачь, Рашка, не надо плакать, Княгиня моя, пускай даже и во сне...

Ты ведь чувствуешь: вон она, твоя подельщица, Елена Запольская, Ленка Ферт, твоя Девятка Бубен – вон, подле юного бездельника в превосходно сшитом фраке. Она здесь, неподалеку, и договор ваш, скрепленный общей болью, еще в силе, как будет он в силе... нет, не на веки вечные, так не бывает меж людей, но до конца срока – он не за горами, но еще тянется, длится, и Сила смеется в тебе тихим всплеском весенней капли.

Эй, гусары и драгуны, их сиятельства и их высочества, все, кто ни есть, – смотрите на меня и на нее, на краль бубновых! Что видите?! Что знаете?! А увидите вы то, чего хочу я! Узнаете то, чего мне заблагорассудится, примете моль за яркого махаона, влюбитесь без смысла, забудете без сожаления, и завтра спросят вас: «С кем танцевали, кавалер?» – а вы и не вспомните.

Лишь пожмете плечами в удивлении:

– Я? С этой? Да что вы, господин хороший!

А хотите – заставлю свечи пылать багрянцем заката над рекой?

Хотите – с ума сведу?! Петь кочетом заставлю?!

Хотите?!

«Хочу...» – еле слышно смеется кошмар, становясь кошмаром.

Холод. Лютый, февральский; барачный. И через всю залу, в отблесках и шепоте, идет он: полуполковник Джандиери, ловец, настигший дичь. Он идет не спеша, и вся твоя Сила, удесятеренная Ленкой Ферт в платье цвета слоновой кости, расшибается о призрачную броню «Варвара», жандарма из Е. И. В. особого облавного корпуса при Третьем отделении.

Пусто.

Холодно.

Некому петь кочетом.

Гаснут свечи в твоих глазах, глупая Рашка... и «Орлов», знаменитый бриллиант хозяйки дома и устроительницы бала, сохранит прежних владельцев.

Не повезло.

– Вы танцуете, милая баронесса? – спрашивает жандарм, кланяясь.

Тишина.

Где скрипки? Где фагот? Гобои где?!

– Вы танцуете? Или вы просто наслаждаетесь искусством маэстро Бернулли? Или сердца привораживаете?!

– Слам тырбаню, фараон, – отвечаешь ты, чувствуя спиной дощатую ласку нар.

Господин полуполковник смеется – и вдруг идет вприсядку, выкрикивая странным, сиплым от пьянства баритоном:

Эх, лешиха моя,
Миляшиха моя,
Косорыла, мохнорука,
Криволапенькая!

Пусто.

Холодно.

Ой, мамочка моя, как же холодно... не плачь, Княгиня, не надо...

Где люди? Где вальс?

Эх, паду-ка на льду,
Сам беду себе найду!..

Крик забивает тебе рот кляпом, и удушье приходит спасением.

* * *

Эх, лешиха моя,
Миляшиха моя...

Села на топчане; с трудом перевела дух.

Сердце плясало... нет, не вальс – бешеную джигу, отдаваясь в мягких висках биением пульса.

– Эй, Сохачиха, дремуха старая! Дай-кася хоть полумерок водки! – взорвался снаружи (во дворе? за забором?!) знакомый баритон.

Лжеполуполковничий; и ты устыдилась своей радости – сон, все сон, греза-бред, и никакого неуязвимого жандарма Джандиери на сотни верст...

Приглушенное топотанье, звякает щеколда оконного ставня.

– Ночь на дворе, бабы-девки! Сгиньте, лупоглазые!

Это теткин бас.

Видать, вино хлебное тайком курит, вот и ходят к ней...

– Дай водки, дремуха! Душа горит! А к завтраму расчет сведем – кукан за стакан, мотыль за бутылку!

И хохот дюжины здоровых глоток.

– Федюньша! Возьми кол, погони неотвязных! Федюньша, слышь?!

Хохот усиливается, но в нем слышны нотки сомнения.

Смеяться? Драться? Уйти? Без водки?!

– Фе-е-едюньша! – утробно передразнивает тетку невидимый заводила. – Пошто страшного своего на честных людей спускаешь, Сохачиха?! Лучше бы ссылочную к народу взашей выпихала! Люди сказывают: тоща, брита, давно не крыта! Давай сюда, мы покроем!

Ты накинула на плечи истрепавшийся платок.

Прикусила губу, морщась от боли.

Боль помогла.

Потому что – обезумела, Рашка?! – едва не подбила итоги жизни-пустышки. А как славно было бы: выйти молча на крыльцо и отдать последнее. Так, чтоб на карачках, изрезав колени коркой наста, поползли бы навстречу, чтоб завыли шелудивыми псами, с ужасом воззрясь на бледную луну; чтоб тени обступили со всех сторон, видясь тем диким, чего боялись кус-крендельчанские гуляки еще в детстве бесштанном, когда страхи жили под каждой лавкой... чтоб ноги целовали – да что там ноги, следы в снегу от ног босых! – моля простить, и не в силах выхаркнуть слова из сведенных судорогой губ.

Ах, славно!

Но потом – смерть.

Потому что одна.

Потому что давно.

Потому что маг в законе, а Закон неумолим.

Потому что... громыхнуло в сенях, совсем рядом; скрипнула дверь.

– Братцы! Крещеные, лешак выбрел!

– Бей страшного!

– В колья!

И тихое, но почему-то слышней воплей, знакомое:

– А-а...

Хруст.

Матерная брань.

Тупые удары.

– Крень! Кренюшка! Братцы, страшной Креня боем зашиб!

– Ах ты!..

– Бегим!

И тут, под топот многих ног, под снежный визг, под удаляющиеся вопли и лай собак ты заснула – слаще, чем под материнскую колыбельную.

Чтобы проснуться, как тебе показалось, через мгновение.

Тишина.

Беззвучие; лишь брешет одинокая пустолайка где-то на самой окраине да дядька-мороз, безрукий резчик, похрустывает на окнах новым узором.

Ужасно хотелось на двор, по нужде.

С сожалением покинув нагретое кубло, в которое превратился топчан, щедро застеленный всяким лопотьем, ты вышла в сени. Оправила армяк на плечах; закуталась поплотней. Из горенки доносился храп – это Сохачиха. Выводит переливы, подсвистывает носом, прихрюкивает тоном ниже – вальс мсье Огюста Бернулли, раз-два-три, потому что скрипки... и гобой... и шелест, шуришание шелка – чш-ш-ш, не мешайте...

Парень спал молча, если и вовсе не убрел куда-то восвояси, в темень и холод.

С такого станется.

Дверь, крыльцо; ледяные перила обжигают ладонь мимолетной лаской – шаркают бродни, холод норовит забраться под овчину, и с неба, разогнав жирное стадо туч, с любопытством смотрят крупные, едва ли не южные звезды.

А вот и нужник.

Деревянный гроб, поставленный стоймя неведомым шутником.

И бубновый туз прорезан в дверце.

Давай, Дама Бубен, не стесняйся – дескать, все свои, родные...

Подобрав полы армяка и скорчившись над отхожим местом, тебе еще раз захотелось умереть. Чувство это было привычным – нет, оно стало привычным за последние годы, и столь же привычным стало умение загонять подлые мысли куда подальше... да хоть и туда, вниз, в вонючую дыру, где таким мыслям самое место. Опростаться – вот слово, более всего подходящее для названия процесса избавления от желания самоубийства; да и для всего остального слово сие подходит не хуже.

Наружу.

Скорей наружу.

Под небо.

Рискуя обморозиться, ты стояла перед звездным судом присяжных, не желая сразу возвращаться в каморку, где царил запах плесени и застарелого дыма. Стояла, дышала полной грудью, впервые за... ах, давно, очень давно, и опять не скоро сложится!

Что стонешь, Рашка? Зачем, Княгиня?! Неужели это стонешь не ты?!

Забор – обветшавший, с облупившейся краской.

Ворота.

Заперты на засов.

Стонут там, за воротами.

Выйти ты осмелилась не сразу, хотя холод мигом удрал прочь. Звякнул засов, скрипнули петли. Прямо у ворот, в двух шагах от носков твоих стоптанных бродней, лежал труп. В волчьем полушубке, в щегольских, смазанных дегтем, сапогах. Шапка откатилась в сторону, зарылась в снег.

Вместо левой половины лица у трупа была кровавая короста. С синей раковиной на месте бывшего глаза.

– Ф-фе... – сказал труп, страшно дергая вспухшими губами.

Сразу вспомнилось: Ленка Ферт тоже любила так – оттопырит губку и, не глядя в сторону кавалера, допустившего оплошность: «Ф-фе...»

Кавалеры аж выюном скручивались.

– Ф-федька... с-сила неприятная...

Ты молчала.

– За што? – неожиданно ясно и громко спросил труп у тебя. – За што?!

Ты пожала плечами.

Повернулась и пошла в дом, не забыв запереть за собой ворота.

Заметки на полях

Если внимательно заглянуть избитому человеку в оставшийся целым глаз, то можно увидеть:

...польнья.

Опасно изломана по краям ледяная корка. Черная, густая вода больше похожа на смолу; сверху клубится легкий парок, сизой бородой завиваясь в сторону. Со стороны берега доносятся крики: слабо, еле слышно. В польнье неожиданно булькает, и крупный пузырь всплывает на поверхность – чтобы почти сразу лопнуть.

Круги, словно от брошенного камня, лениво ползут во все стороны.

Крики смолкают.

* * *

Когда утром Рашель вновь вышла на улицу, там никого не было.

V. Друц-лошадник, или Дорога на Большие Барсуки

*Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе.
Все, видящие меня, ругаются надо мною...
Псалтирь, псалом 21*

Этап из последних сил брел по пыльной дороге. Этап? Да нет, какой этап, сейчас каторжан гнали уже на лесоповал – вот только одно странно: откуда такая усталость? К работе ведь еще не приступали... Ты из последних сил сдерживался, давил в зародыше вздымающиеся из самого нутра волны кипятка: ах, как славно было бы одним движением сбросить опостылевшие кандалы! размазать о ближайшую сосну конвоира-сопляка, в двадцатый раз пинающего тебя сапогом развлечения ради! – и рвануть когти. В лес. Сил бы и сейчас достало: и на оковы, и на размазать. И даже на рвануть. И может быть, потом прожить целый день. От силы – два. Хотя два – это вряд ли... Ты знал, ты помнил, скрипел оставшимися зубами – и все равно не выдержал. Ощутил себя другим. Прежним? Каким хотел сам себе казаться? Просто молодым и глупым – как двадцать лет назад?..

И не стал сдерживать очередную волну.

Позволил выплеснуться наружу, ошпарить вкрутую, на мгновение вскружить голову упительным хмелем свободы и вседозволенности.

Глухо брякают кандалы, гнилыми ошметками сваливаясь с ног, отчаянно хрипит конвоир, вокруг шеи которого захлестнулся ремень его собственной винтовки... А ты уже бежишь, бежишь прочь, и другие конвойные не успевают, не успевают, потому что каторжане, старательно изображая из себя стадо баранов, тупо сгрудились у них на дороге – а спасительный лес совсем рядом, он готов принять тебя...

Земля больно бьет в лицо.

Встать, скорее! Ты ведь просто споткнулся!

Но себя не обманешь. Ничего не случается «просто»!

– Встать!..

– ...Вставай, паря!

– Эй, ты, как бишь тебя... Друц! Ссылочный! Вставай, мажье семя, – тут по твою душу!..

Низкий закопченный потолок. Его заслоняет рябая рожа Филата, склоняется, дыша перегаром.

– Очманел посла вчерашнего? – лыбится рожа. – Вставай, вставай! Тебя купчина наш, Ермолай Прокофьич, спрашивают... свинья его заешь, кровопивца!

Последнюю фразу Филат произносит свистящим шепотом, не забыв предварительно оглянуться – словно тайной великой делится.

Сон.

Всего лишь сон!

Но до чего похож на правду...

* * *

Тело, как обычно с утра, не хотело подчиняться. Хрустела и ныла многострадальная спина, из рук словно умелый кат жилы тянул, суставы отзывались на каждое движение резкой дергающей болью. Да еще и голова изрядно гудела с бодуна. Отвык ты от хмельного, Валет Пиковый, ай отвык, морэ...

И привыкнуть заново вряд ли успеешь.

Кое-как, стиснув зубы, тщетно пытаюсь не стонать, доковылял до сеней. Ткнул ноги в бродни; буквально вывалился за порог, притворив за собой дверь, чтобы не студить избу. Первым делом сунул бритую «пополам» голову в ближайший сугроб едва ли не целиком, по самую шею, благо снег оказался мягким, рассыпчатым – видать, за ночь навалило.

Подождав немного, пока в мозгу прояснится, а уши начнет щипать жгучий морозец, распрямился, отер ладонью лицо.

И только теперь взглянул на гостя, с интересом наблюдавшего за тобой.

Гость сидел на краю широких саней-розвальней, запряженных парой гнедых низкорослых меринов (таких ромы-лошадники в насмешку дразнили «тыгдынцами»). Одет же был знатно: в длинную, едва ли не до пят, меховую доху, шапку из росомахи-летницы и новые, еще не стоптанные, валенки.

Валенки – это правильно! Неча купцу по морозу в сапогах щеголять, даже если мошна хром-шевро позволяет. А унты – они для охотников удобнее...

Кто бы тебе пару валенок подарил?..

Сам же купец был сухощав, моложав и отнюдь не походил на традиционного «купчину-кровопивца». Вдобавок прищур у Ермолая Прокофьича оказался цепкий, внимательный – но, как ни странно, вполне доброжелательный.

Охотничий глаз, не купеческий.

Ну и воровской, чего греха таить.

– Ты, што ль, шиш лесной, ссылочный будешь?

– Я.

Получилось не «я», а скорей «кха-а», но Ермолай Прокофьич поняли.

– Вчера в Больших Барсуках был, с урядником виделся, – немедля перешел купец к делу. – Ихняя строгость там еще денька два гостить обещался. Велел вам обоим к нему явиться: прибытие отметить и довольствие денежное получить. Ежели поторопитесь – подвезу. Обоих.

В купцову бескорыстность верилось слабо.

– А тебе-то с того какой прок – ссыльных к уряднику подвозить?

– Соображаешь! – Купец ухмыльнулся в щегольскую, аккуратно завитую кудряшками бородку. – Филат-бездельник мне денег три рубля с полтиной задолжал. А вам содержание от державы положено. Филату за постой причитается? Причитается! Да и тебе с рублей государственных много ли толку, в нашей-то глухомани?! Вот с тех денег и отдаст Филат должок-то... А иначе дождешься от него, шиш лесной! В избе, окромя детей да мышей, считай, отродясь ничего не водилось... Ну так ты едешь?

– Еду.

– Тогда давай собирайся – да поживей. А я пока к Сохачихе за твоей бабой заеду.

* * *

Лошадки шли ходко, и ты, несмотря на все насмешки над мохноногими «тыгдынцами», оценил их выносливость и неприхотливость, как нельзя лучше подходившие для этого богом забытого, сурового края.

Правил самолично Ермолай Прокофьич. А вы с Княгиней, как баре, развалились позади, сдвинув в сторону купеческие тюки (видать, с мануфактурой) и накинув на ноги припасенную купцом волчью полость.

Век бы ехал: сани легко скользят по лесной дороге, вокруг нетронутая, первозданная тишина – только мерное звяканье колокольцев да приглушенный стук копыт по укатанному снегу; по сторонам, не слишком торопясь, убегают назад придавленные снежными шапками темные ели. Есть некое очарование в унылом зимнем однообразии замершей природы, неспешной езде...

Но век – не получалось.

И даже до деревни, тоже крещенной не по-людски – Большие Барсуки, – тоже не получалось.

– До места я вас не доведу, – предупредил купец еще там, в Кус-Кренделе. – Мне сегодня в Зиморачье поспеть надобно. До развилки дотрюхаем – а это уже, шиш лесной, считай, пол-дороги. Там я вам тропочку укажу: выйдете по ней на заимку, передохнете, ежели захотите, чайку попьете; а дальше до Больших Барсуков, куда там тропа – дорога! Не заблудитесь. Возвращаться станете, на той же заимке ночуйте, а поутру путь вам опять к развилке – я назад катить стану, подберу. Считай, часа через три, как посветлеет, проезжать буду. Только в жданки мне играть недосуг: не поспеете – на своих двоих до Кус-Кренделя топтать придется!

– И на том спасибо, купец, – криво усмехнулась Княгиня.

Как рублем подарила.

Фальшивым.

Ты ведь уже успел шепнуть ей, с чего это вдруг купец в благодетели записался. Про три с полтиной рублика долга. Впрочем, мог ведь и вовсе не подвозить. Сами дойдут. Никуда их деньжата и так не денутся; а денутся – тоже не велика беда. Видать, что-то еще Ермолай Прокофьичу от ссыльных нужно, не только Филатов гиблый трояк. Ладно, время придет – сам скажет...

– Что, купец, так вот по лесам один и разъезжаешь? – поинтересовалась Княгиня, нарушая монотонное однообразие езды и выдергивая тебя из полудремы.

– Ежели товару чуть, как сейчас, то один и езжу, – наполовину обернувшись, благодушно подтвердил Ермолай Прокофьич. – Чего зазря людей гонять, коли и сам управляюсь? Вот ежели сурьезный груз случается – тады другой разговор...

– Ну так посылал бы приказчика. Чего ж сам-то? – Тебе тоже стало интересно.

– Когда все, считай, сговорено, можно и приказчика, – согласился-возразил купец. – А когда еще сам наперед не знаешь, в чем твой барыш будет, вот опять же как сейчас, – тогда уж лучше самолично!

Тебе показалось: в ответе прятался какой-то намек.

Какой?

На что?

«А когда еще сам наперед не знаешь, в чем твой барыш будет, вот опять же как сейчас...»

– И не страшно, самому-то? Не ровен час, лихие людишки...

Ермолай Прокофьич хохотал со знанием дела: громко и искренне.

Отсмеявшись, обернулся к ссыльным:

– Это у вас, шиш лесной, в городах-столицах – не ровен час! А у меня родня-кумовья, почитай, в каждой берлоге лапу сосет... Ермолай Прокофьича, шиш лесной, на сто верст кругом всяк знает! Да и пристав с урядником в гости наведываются, рябиновки отведать... – Он многозначительно подмигнул. – Случись со мной што – куда тем «лихим людишкам» деваться – в трясины? на елку?! под лед?! Не бывает у нас такого. Скорей уж по пьянке пришибут, чем вот так, в лесу, на дороге... Да и ружье у меня имеется: саксонской работы, осечек не дает! – И купец продемонстрировал ссыльным действительно весьма приличную двустволку-«верти-

калку» с воронеными стволами и серебряной насечкой. – Так што не страшно, господа ссылоч-ные, не страшно! И вашего брата беглого я не боюсь: только дурак тут озоровать станет, сами понимать должны, не хлюсты сопливые... А вот и развилка. Тпр-р-ру! – Ермолай Прокофьич натянул вожжи, и «тыгдынцы» послушно встали. – Вон, глядите: тропочка, што я сказывал. За час до заимки доберетесь. А оттуда до Больших Барсуков по дороге – почитай, часа три. Дорога одна, не ошибетесь. Речку по льду перейдете. В селе поповский дом ищите, он близ церковки – издалека видно. Урядник у батюшки гостит. Ну, бывайте! Заутра сюда же выходите – подберу.

Купец залихватски хлестнул меринов вожжами. Звякнули бубенцы, и вот уже – нет упряжки, только облачко снежной пыли искрится в морозном воздухе, медленно оседает на колею.

– Ну, пошли, Княгиня?

Женщина не ответила; просто первой двинулась вперед по едва заметной тропке, проваливаясь в снег по колено.

Ты в два шага догнал ее, так же молча отстранил; пошел впереди.

Возражать Княгиня не стала.

* * *

До заимки добирались хоть и больше обещанного купцом часа, но вышли много раньше полудня. Женщина дважды останавливалась, синела лицом, гоня из глотки паклю удушья; тяжело, с надрывом, кашляла, потом еще минут пять стояла привалившись к ближайшему дереву – копила силы. Однако любые попытки помочь Княгиня решительно отвергала, так что в конце концов ты сдался и лишь время от времени останавливался, поджидая отставшую спутницу.

В просевшей от старости избушке обнаружился изрядный запас сухарей (мышь! куда вы смотрите?!), полотняный мешочек с чаем, спички, соль, стайка жестяных кружек вокруг атамана – закопченного котелка; да еще давно не точенный топор. Топор оказался как нельзя кстати: вскоре в раздолбанной каменке весело заплясало рыжее пламя.

Озябшие руки сами собой потянулись к огню, а снег в котелке быстро стал водой, готовясь стать кипятком.

Чай – крепкий, горчащий, пересыпанный местными травами – пили долго, со вкусом. Княгиня раскраснелась, вроде бы даже малость повеселела, и грудная жаба-царевна смилостивилась над ней, не мучала больше.

Пока, во всяком случае.

Оставляя теплое место у печки и снова плестись куда-то по морозу хотелось меньше всего. Однако пришлось. Такая уж она, доля ссыльного: вроде и на воле, вроде и срок оттрубил – ан нет, топай через лес за семь верст киселя хлебать! Потому как не отметишься вовремя у урядника – загремишь обратно на каторгу за неповиновение и нарушение «Предписаний, до ссыльно-поселенцев относящихся...»; если попытку побега шить не станут.

Купец не соврал: почти у самой заимки началась широкая просека. Идти по ней было легче, чем по тропе; согретье чаем да каменкой, вы прибавили ходу. Когда лес наконец поредел, расступился и вы вышли на берег замерзшей реки, смеркаться еще и не думало.

– Как мыслишь, Княгиня, по светлому до сей заимки обернемся?

– Не знаю, Друц. Если будем здесь стоять да прикидывать – заночуем в сугробе. Пошли.

Морозы в последние дни держались исправно – значит, шли без опаски ухнуть под лед. Благодаря толстому слою снега бродни не скользили, так что до другого берега добрались быстро.

Вот и село.

Большие Барсуки действительно оказались куда поболее того же Кус-Кренделя, и люди здесь жили побогаче. Тем не менее поповский домишко был замечен издали, и не только по причине близости к церковке: высоченной хороминой и здесь, окромя батюшки, никто не мог похвастаться. То есть позволить себе могли бы, есть на белом свете и Ермолай Прокофьичи, и всяко-разно! Однако народишко предпочитал достраиваться вширь, а не вверх. Один поп, видать, захотел быть поближе к Господу; с чердака войти в царствие небесное!

Ну что ж, батюшка – он из духовного сословия, ему положено...

– Не люблю попов, – на ходу процедила сквозь зубы Княгиня.

– А кто ж из наших ихнего брата любит? – Ухмылка разодрала твои промерзшие губы. – Что, небось и к уряднику тоже на шею не кинешься?!

Она остановилась.

Обернулась.

– А ведь прав ты, Бритый, – бросила вполголоса, назвав по кличке, что делала редко. – Злобы во мне накопилось. Я и раньше была – не подарок, а после каторги... Того и гляди – ядом плеваться начну! – Помолчала. – Да сама, аспид глупый, от того яда и подохну, – добавила чуть слышно.

Ты ничего не сказал.

Дверь открыл парнишка лет четырнадцати, в чистой белой рубахе и портках черного сукна.

Прямые волосы разделял аккуратный пробор; ровно посередине.

– День добрый! Господин урядник у вас гостит? – упредив вопросы, поздоровалась-спросила Княгиня.

– Истинная правда, у нас. С батюшкой моим обедать изволят. А вы кто будете?

– Скажи господину уряднику: ссыльные, которым он велел явиться, пришли. Отмечаться.

Еще некоторое время пришлось разглядывать захлопнувшуюся перед носом дверь, переминаясь с ноги на ногу и прихлопывая в ладоши – морозец давал себя знать. Зима уж на исходе, вот и люрует напоследок.

– Заходите. Господин урядник вас примет. Вот только венчиком снег с обувки обтрусите...

Надо же: господин урядник вас примет! Ровно товарищ министра или глава Е. И. В. Собственной канцелярии! Чем мельче бугор, тем больше гонору, дело известное. Ну и пусть выкобенивается – его право, не наше.

– Желаем здравствовать, ваше благолепие! Желаем здравствовать, ваша строгость!

Как заведено, первым поздоровались с лицом духовным. Да будь у попа в гостях хоть обер-полицмейстер или полный генерал – все равно с батюшкой первым здороваться, уважение выказывать. Вот ведь устроились, жеребьячья порода! Впрочем, любому добропорядочному обывателю на это плевать. Это им, ссыльным, волей-неволей все до буквы соблюдать приходится, чтобы забот не огрести.

Да, и на божницу перекреститься, это правильно!

– А-а, явились! – от стола обернулся к вошедшим урядник; и лихо подкрутил обвисший было прокуренный ус. Было видно: ихняя строгость зело пьян – но не до беспамьятства покамест, говорить сможет.

Восседавший во главе стола дородный батюшка выглядел куда трезвее – как-никак, в единоборстве с «зеленым змием» отец духовный привык выходить победителем. Рубаха на груди расстегнута, и из-под окладистой, как и положено всякому уважающему себя попу, бородищи поблескивал изрядных размеров наперсный крест. А вот кудри поповские были щегольски собраны на затылке в новомодный «жгут».

«Впрочем, – подумалось невпопад, – это когда в острог сажали, такое в диковинку было; а сейчас даже до этой глухомани докатилось...»

– Заходите, рабы Божьи, заходите, просим к столу, – прогудел батюшка, не побрезговал. – Вы ж теперь аки дети малые, безгрешные – почитай, заново на свет народились. Твоя строгость, вонми гласу моления моего: за такое и выпить не грех, за жизнь новую!

– Знаю я таких, козлиц безгрешных, – проворчал урядник, однако проворчал не зло, скорее для порядку. – Эй, Егорша! – обратился он к застывшему в дверях поповичу. – Принеси-ка мою планшетку с бумагами: прибытие отметить надо.

– Во здравие и отметим! – хохотнул поп, наливая водку еще в два чайных стакана, немедленно извлеченных... прямо из воздушей, что ли?

Силен, батя...

Водка была прозрачней младенческой слезы. Небось казенного завода, красноголовая, матушка, не Филатова сивуха!

Двое скинули котомки и армяки в угол; подсели к столу.

– Ну што ж, дети мои: во искупление да за жизнь новую, правильную! Аминь! – провозгласил батюшка и лихо опрокинул стакан, как показалось, прямо в глотку.

Водка действительно оказалась хороша. Сразу заметно потеплело.

– Закусывайте, господа раскаявшиеся, – подначил урядник. – Дармовой харч брюха не пучит...

Закусить и впрямь было чем: соленые груздочки, черная колбаса кольцами, моченая брусника, налимья печенка, поджаристый, еще горячий, подовой хлеб...

– Премного благодарствуем! – Даже Княгиня, похоже, чуть смягчилась в своей нелюбви к «жеребчье породе».

– Реку в строгости: што, не станете более богопротивным промыслом колдовским заниматься? – осведомился хозяин дома, смачно хрустя горстью квашеной капусты.

В бороду падали капли рассола и клюквенная кровь.

– Раскаялись, батюшка, – поднял ты на попа свои честные глаза. – Полны желания загладить.

– Ну-ну, – хмыкнул урядник, листая бумаги, извлеченные из принесенного Егоршей планшета. – Та-а-ак... значит, Друц-Вишневецкий Дуфуня и... Альтшму... Альшту...

– Альтшуллер. Альтшуллер Рашель, господин урядник.

– Эк тебя! Это вы, значит?

– Так точно, ваша строгость, мы и есть.

Урядник нашарил в планшетке, доставленной поповичем, чернильный карандаш, старательно послуныявил его и, сосредоточенно сопя, что-то пометил в своих бумагах.

– Вот, эта... содержание вам от казны положено. По... да, точно: по семи рублев двадцати копеек на брата.

– А на сестру? – хохотнул поп.

Нет, он все-таки был более пьян, чем показалось вначале.

– Извольте расписаться. Тут и в углу.

В ведомости стояла сумма едва ли не вдвое большая названной урядником. Но ни ты, ни Княгиня спорить не стали: подписали молча. Правды все равно не добьешься, а вдруг добьешься – врага наживешь. Стоит ли связываться из-за жалких семи целковых?

Урядник это лучше вас понимает.

Ему семью кормить, а вы – голь перекатная, и так не сдохнете.

– А вот и денежки! Получите сполна. И смотрите мне: за старое возьметесь – сгною!

– Да ладно тебе, Кондратыч! – прогудел поп, вновь с дивной ловкостью наполняя стаканы. – Не видишь, што ль: отвратились оне от диавола, встав на путь исправления! Пусть же

и другие грешники за ними воспоследуют, к вящей славе Господней! За то и причастимся. Аминь!

В голове вновь зашумело, пусть не так сильно, как вчера, и ты понял: если вы тут еще задержитесь, до заимки не поспеете. А ночевать у попа вряд ли оставят. Косой взгляд на Княгиню – и та, все прекрасно поняв, кивнула. Вот только зажевать чуток – и...

– Благодарствуем за угощение, батюшка; и вам также, ваша строгость, за заботу – однако пора и честь знать!

– Ин ладно, дети мои... С Богом! – махнул рукой поп и, мигом забыв о ссыльных, потянулся за колбасой.

– Режим поселения знаете? – бросил вдогонку урядник, когда вы уже стояли в дверях.

– Назубок, ваша строгость!

– Ну, смотрите у меня...

Заметки на полях

Если внимательно заглянуть батюшке в его хитрые, слегка пьяные глазки, то можно увидеть:

...облака.

Бегут по небу светлые кудряшки, торопятся. Ветер отщипывает с краешку, спешит наиграться пенным обрывком, пока тот вовсе не истаял от томления. Рыжая верхушка сосны растопырилась поперек дороги, стращит иголками: берегись! Расшибу! Прочь!.. Да кто ей, старой, поверит?

Бегут облака по небу: веселые, безгрешные.

А смотрят-то – с земли.

* * *

Поначалу идти было легко. Разгоряченные водкой, подкрепившиеся, согретье, вы уже не слишком обращали внимание на лютующий мороз. Споро перешли речку, переговариваясь о каких-то пустяках – даже Княгиня оттаяла после поповской трапезы.

Выбрели на знакомую просеку.

И тут все пошло наперекосяк. Княгиню вновь скрутил приступ удушья, пришлось переждать, пока он пройдет. А когда, наконец, тронулись дальше, неожиданно-негаданно навалилась усталость: начало клонить в сон, разом заныла спина, ноги принялись выписывать замысловатые кренделя... Княгиня, похоже, чувствовала себя не лучше, держась из последних сил.

Быстро смеркалось. Просеке, казалось, не будет конца. Лес плыл перед глазами, мелькал черно-белым забором с многочисленными проломами... Сколько вы уже идете? Два часа? Три? Пять? А что, если в сумерках вы промахнулись мимо избышки и теперь бредете в никуда? Чтобы через неделю-месяц случайный охотник отгонял собак от ваших окоченевших, смерзшихся в ледышку тел?!

...Ай, дадывэс день суббота, а пэтайся, ай, да ли, дэвла куркоро!..⁵ И хором, вприсядку: ай, дадывэс день суб-бота!..

– Очнись, Друц! Глаза открой, дерево ходячее! Говорила же: не люблю попов!.. это все от его проклятой водки... Да посмотри ты вперед, дубина! Друц!!!

Ты с усилием разлепил тяжелые, свинцовые веки.

Пригляделся.

⁵ Ай, этот день, ай, день суббота, а завтра будет воскресенье, боже мой!.. (ром.)

Теплый охристый огонек... вон мерцает.
Потянуло дымом, махоркой, запахом жареного мяса.
– Дошли, Друц. Заимка!
– Заимка? А почему огонь горит? – не понял ты.
Голова кружилась, плыла.
– Потому что люди там, – как ребенку, пояснила тебе Княгиня.

VI. Рашка-княгиня, или Бубновый марьяж

*Воздай им по делам их, по злым поступкам их; по делам рук их
воздай им; отдай им заслуженное ими...*

Псалтирь, псалом 27

...Почему-то сразу вспомнился барак.

Стылая игральная доска, разделенная дощатыми нарами на клетки, согретая теплом многих тел и чахлой каменки; доска, на которой заканчивались недоигранные партии. Более сорока женщин – молодки, старухи, совсем девочки, красавицы, уродины, стервы, мямли, фартовые и случайные... всякие. Таких, как ты, было мало – трое; остальные давили срок за разное. Отравила стрихнином постылого мужа; бросила самодельную бомбу под колеса губернаторского экипажа; застрелила из браунинга троих гимназистов, своих воспитанников, признана вменяемой, но на суде отказалась сообщить причины...

Тебя, как барачную старосту, дважды пытались «взять на перо» и трижды – склонить к сожительству.

И то и другое частично удалось, а вот какова была эта часть – вспоминать не хочется.

Зато выжила.

Выжила; хоть и была замкнута сама в себе до конца каторги. Отсечена от мира, от Ленки-крестницы гербовой печатью приговора, печатью и рядом – витиеватой, с завитушками, подписью епархиального обер-старца при окружном суде: «о. Алексей; сим удостоверяю, ныне, присно и до окончания назначенного срока, аминь».

Забудь, Княгиня.

Забудь, пожалуйста.

Это не барак; это заимка на полпути от Кус-Кренделя к Большим Барсукам, это не каторжанки там, внутри, это лосятники из ближних сел ночь коротают.

Это охотники в дыму.

Уйми стерву память.

* * *

– А меня, братцы, близ Глухаринной падины едва объездчик не нагреб! Я лося сшиб, только свежевать – тут он по мне пулей из ельника как саданет... Мы с ним давно друг дружку любим, то я его в зыбуны заведу да покину, то он меня! А третьего месяца докопался, гадюка, что лишнего лося я взял, обещал донести да штраф стянуть.

– Эх, Тимошка, зря ты с начальством грызешься! Ин власть, не тебе, сыромятому, чета...

– Помолчь, махорка! Начальство-кончальство... уловлю сам-на-сам близ речки, как крест свят, в пороги с камнем брошу! А что? Мне все едино: объездчик, лесничий! Ежели душа требует, не прощу!

– Хвалился тетеря сову схарчить... Слышь, Вералец, подкинь-ка смолья в каменку, да щепы не жалея!

– Дымно, батя...

- Што дымно, то пусто, а што зябко, то гнусно! Уразумел?
- Уразумел, батя...

Двоих новоприбывших вроде бы и не заметили.

Вроде бы.

Вошли, кивнув обществу, скинули армячишки на замызганный пол, сели ближе к огню. Ин ладно, пуцай их сидят. Потеснимся; на нары не лезут, и то славно. С понятием людишки. Даже головы, обритые по-каторжному, вопросов не вызвали.

Пока.

Успеется, ночь длинная.

Пусть спасибо скажут, что собак отозвали, дали порог перешагнуть.

– Дык гляди, Тимошка: пока ты объездчика в пороги с камнем, он тебя из ельника пулей... Замириться бы вам, што ли?

– Ты, махоря, гри, да думай! Мне?! Замириться? С гадюкой сей?!

– Не беленись, Тимофей, худой мир лучше доброй ссоры!

Было видно не глядяваясь, слышно не вслушиваясь: лихой Тимошка из тех, кто лишь на людях горласт. Мелкий, худосочный, лицо клювасто по-петушиному, под левым глазом синяя жилка всю бьет. Охотник важно надувался, отчего становился похожим на детскую забавку, красный леденчик на палочке; взвизгивал снегом под лыжей, норовя доказать свой гонор, заставить всех увериться – он, Тимофей-лосятник, грозен да непреклонен, поперек дороги и не думай!

Получалось плохо.

Общество подначивало да хмыкало в рукава.

Наконец Тимошка понял, что его разыгрывают, и обиженно умолк.

– Эй, беглый! – Тот лосятник, что предлагал Тимошке замириться с объездчиком, перевел мутный взгляд на молчаливого Друца. – Што ж ты по февральскому сузему бежать вздумал? Да еще без припасу: ни харчей, ни ружьишка, одну бабу за собой тянешь? Женка али так, баловство?

Ты молча слушала, как Пиковый Валет потягивается, прежде чем ответить, как хрустит у него даже не спина – все тело хрустит, будто у отжившей свое елки-сухостойки.

Сочувствия не было.

Сама такая.

– Не беглый я, дядя. Ссылный, на поселении. Обоих в Кус-Крендель определили; сейчас вот к уряднику ходили, отметить...

Женка ты ему, не женка – об этом Друц благоразумно умолчал.

– Шавит, махоря, – уверенно определил с верхних нар Тимошка, не способный долго молчать-обижаться. – По роже варнацкой вижу: шавит и не подавится. Как есть беглый. Братцы, вяжи обоих, за поимку денег дадут!

Предложение Тимошки было встречено общим равнодушием. Да и сам-то он отнюдь не спешил лезть вниз вязать «беглых».

Так сказал, для разговору.

Мутноглазый лосятник (по всему видать, старший в ватаге) покопался в бороде; выдернул волос, прикусил желтыми, лошадиными зубами.

– Спать пора, – рассудил он. – К завтраму рано подыматься. А вы...

Он строго посмотрел на тебя, Княгиня, почему-то именно на тебя, и ты сразу поняла: мутноглазый знает. И по какой статье срок давили, и что вприкуску имели, и кто здесь Дама, а кто – Валет.

Умен оказался; зорек.

Не чета дураку Тимошке.

– А вы вот чего... Ворожить вздумаете – стрелю. Крест святой, стрелю. И в сугробе закопаю; без панихиды. Уразумели?

Ты молча кивнула.

Помнишь, Княгиня? Тебе тогда даже стало интересно: а не начать ли «ворожить»?! Как встарь; без оглядки. И пусть мутноглазый посмотрит: как легче умирать магу в законе, после каторжной отсидки, – от его смешной пули или от своей родной доли?!

Интерес мелькнул и угас.

Сны бродили в дыму, обходя тебя десятой дорогой.

Ты так и спала: без снов.

* * *

Ушли лосятники затемно.

Шумно, деловито; по-быстрому.

Спустя полчаса поднялся и Друц. Долго кряхтел, хрустел телом; матерился полупешепотом, вставляя чудные ромские слова. Ты слушала, купаясь в дреме, – да, Рашка, ты слушала, стараясь не позволить себе войти в смысл незнакомой речи. Слишком дорогая покупка вышла бы; проще у самого Валета спросить, проще, да не надобно.

Спи.

Есть еще время.

– Пойду дровишек расстараясь...

Хлопнула дверь. С обидой взвизгнул снег под тяжелыми шагами; минута – и шаги затихли в отдалении. Ты знала: такое с Друцем бывает. Найдет предлог, утащится куда-нибудь и станет в небо смотреть. В темное, светлое, затянутое тучами или подмигивающее желтым глазом солнца... Ему небо нужно, Дуфуне Друц-Вишнеvesкому. Хоть иногда. Позарез. Такая ему планка по жизни вышла...

Ты знала, потому что сама была такой.

Ну, почти такой.

Спи.

Слышишь – визг снежный, шаги... опять хлопает дверь.

– Давай, дура баба, подвинься!.. Сделаемся по-быстрому...

Чужие, жесткие руки наскоро оцупали. Исчезли. Что, Княгиня, разучилась дергаться впустую? Разучилась. Не пошевелилась даже. Только позволила дреме удрать в угол да ресницами чуток шевельнула. Чтоб видеть. Вон он, Тимошка-охотник, болтун пропащий: тулуп на нары, подпер дверь поленом, губы облизал и опять к тебе.

Сел рядом.

Не торопится, хотя и говорил: по-быстрому, дескать.

– Я, дура баба, ватаге слегонца нашавил: забыл, мол, кисет! Догоню, мол... Ну давай, скидывай, что там у тебя, – не самому ж мне морочиться?! Я – мужик справный, благодарить потом будешь... Давай, давай, вижу же, что не спишь!

Стало смешно. Небось первый парень на деревне. Как пройдет с гармошкой, в малиновой рубахе – девки рядами валяются, молодки ночами плачут! И здесь орел: мимо не прошел, вернулся осчастливить старушечку...

– Ты што, прикидываться вздумала? Аль ворожишь? Так ты это дело брось, вашему брату-ссылочному, из мажьего семени, тихо жить надобно! Иначе аминь и концы в воду! Ну давай, не тяни!

Рука сунулась под одежду, в тепло; нащупала, сдавила грудь.

Отпустила.

– Гляди-ка: титька совсем девчачья! Молодцом!

А может, и впрямь дать дураку? Он ведь так и просидит, дожидаясь, чтоб сама... Силой брать не приучен, что ли? Выходит, что не приучен. Не доводилось силой. Когда у тебя в последний раз стоящий мужик был, Княгиня? Что, и не вспомнить? Или просто вспоминать не хочется? Сама ведь была – то мужиком, то бабой, то сразу всеми... А здесь парень первый сорт, не снимая лыж, лосиху облюбит!

То, что поначалу было смешно, стало противно. До горькой слюны; до холодка в паху.

– Пошел вон, мразь, – сказала ты и отвернулась.

Тишина.

Небось переваривает; небось от изумления аж взопрел.

– Што?! Да я тебя, падина! да я!..

Упал сверху; опрокинул на спину, придавил неожиданно тяжелым телом. Завозился, обрывая крючки.

– Ага! Ага, вона где...

Вспомнилась Марфа Посадница, пугало барачное. Вот так же, во вторую ночь: навалилась сверху, обслюнявила, сдавила горло... Вот так же. И сейчас будет, как тогда, после чего Бубновой Даме под уважительный шепоток товарок «Княгиня!..» выделили наутро место в углу, подальше от дверных щелей с вечными сквозняками.

Скучно.

А может, все-таки...

Нет.

– Ага! Ну, дура ба... ах-х-ха!

Колено попало туда, куда нужно. В самый сок. Задохнулся, Тимошка-гармошка? Скрючился весенней гадюкой? Больно ухарю Тимошке? Потерпи, сейчас еще большее будет.

Я права?

Права.

Даже ладонь отбила.

– Х-хы!.. Ну... ну... Мужика! По яйцам?! В рожу?! Падина валежная! Ведьма!

Уже встала.

Уже хотела отойти в сторонку: дать отдышаться и проводить добрым словом. Уже... не вышло. Откуда-то накатило: обида, ярость, злоба – все вперемешку.

Обдало лютым, чужим бешенством.

Рухнула сверху, как он сам минуту назад; нащупала костистую глотку, вцепилась без ума.

– Мужик? Ты – мужик?! Я таких, как ты... я...

Слова обжигали рот.

Что кричала, чем плевалась в посиневшее лицо – не помнила.

Очнулась в снегу.

Как вышла? Когда? Зачем повалилась в сугроб, плача навзрыд и не стесняясь собственной слабости? Кто знает?!

Ты знаешь, глупая Рашка?

Нет, ты не знаешь.

Заметки на полях

Если взять его за уши, охотника Тимоху Драчева, если, не отпуская, заглянуть на самое доньшко его чухонских, припухших глаз, то можно увидеть:

...река.

Сбегают кручи на отмель, словно девки гольшиом к воде несутся. Ишь, бесстыжие! Курчавятся стыдно порослью багульника! Розовеют боками в закатных лучах! В подмышках-впадинах трава пучками! Замуж пора!.. А вон и девки. Настоящие, взаимдашние; купаются. Брызги – радугой. Визг – до неба.

*Вот оно, счастье: туда бы...
С разбегу.*

* * *

За спиной передернули затвор.
«Спасибо», – едва не сказала ты.

VII. Друц-лошадник, или Рупь с полтиной

*Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились; чего я не отнимал, то должен отдать.
Псалтирь, псалом 68*

– ...Не советовал бы.

Охотник дернулся, как от затрешины. Резко обернулся. Ты знал, что он сейчас видит, как если бы смотрел на себя самого глупыми Тимошкиными глазками.

Щетинистая морда; голова обрита «пополамчиком», лишь недавно начала обрастать полюдски. Стоит, верзила окаянный, скалится от уха до уха... На плече топор, у ног охапка дровишек. Ладони с добрую лопату, загребай-кидай! Вчерась, в дыму, и не приметилось как-то, а сейчас – само в глаза бросилось. Приложит от души – топор без надобности! Варнак ведь, мажье семя!..

Как и подкрался-то?!

– А ежели да вдруг? – Охотничек еще пытался хорохориться, давить гнилой форс. – А, махоря?!

– Не надо. В бердане у тебя один патрон. Одного из нас завалишь – второй тебя закопает. Да и ружьецо-то твое... осечка на осечке. Поверишь? проверишь?

Расстояние между тобой и блудливым охотником исчезло сразу, рывком. Лишний здесь топор упал в снег. А вслед за ним и дурак Тимошка, ухваченный разом за шиворот и за штаны, отправился головой вперед в ближайший сугроб.

Вместе со своим задрипанным берданом.

– Эх, Княгиня, нам ли жить в печали? – Ты постарался не заметить синей бледности на лице женщины; и не попытка насилия была тому виной. – Пошли чай гонять? Наспех только кошки родятся...

– И я, – задушенно донеслось из сугроба. – И мне – чаю... горяченького...

* * *

Когда котелок уже принялся вовсю фырчать, снаружи затарабанили в дверь.

Полено, предусмотрительно установленное по новой взамен отсутствующей щеколды, вздрогнуло.

– Эй, варначье! Хучь чаю-то налейте! – заблажил Тимошка душевным фальцетом. – А ишо тулуп мой там, у вас! Зима, чай, на дворе, холодно! З-зараза!..

Ты покосился на Княгиню, но та только пожала плечами.

Без разницы, значит.

Ружье возникший в дверях Тимошка держал стволом вниз; сразу же, войдя, демонстративно извлек патрон, а само ружье поставил к печке – сушиться.

Нацедил сиротскую, четвертную кружечку; жадно припал губами.

Дернул кадыком.

Захрипел удавленником, пытаюсь совладать с первым глотком.

– Ну вы и заварили! Ажно пляшет, в брюхе-то!..

– Пойди снежком заешь, – беззлобно ухмыльнулась Княгиня.

– Сама заедай! И не такое пивали! – тут же спохватился охотничек.

Некоторое время прихлебывали чай молча. На скуле у Тимошки медленно, оттаивая в тепле после сугроба, наливались багрянцем следы ногтей. Это Княгиня его еще по-доброму: могла ведь и по глазам!

А лоб ободран – это, должно быть, наст ломал, когда в сугроб нырял.

– Ить могла бы и дать, дура баба! – подумав, заявил вдруг лосятник, по-ребячьи кривя губы. – Кому ты такая сдалась, падина?! А я...

– Бог подаст, – был ответ.

Короткий, сухой; тщательно процеженный сквозь зубы.

Для вящего понятия.

Однако было видно: обидное «Кому ты такая сдалась?!» задело женщину за живое, и задело крепко. Одно дело – понимать самой, назубок вызубрить, слепиться навсегда; и совсем другое – от мужика в лицо услышать, пусть даже от мозгляка вроде Тимошки.

– Ну и жихорь тебя заешь, – как-то вроде бы даже с облегчением согласился лосятник, добавив совсем уж невпопад:

– Баба с возу...

Вот только – невпопад ли? – подумал вдруг ты. Когда мужик от бабы известно чего хочет, а та ему от ворот поворот дает, да еще и морду облупит – какое тут облегчение?! Злость да обида. А мужское естество от той злости, от обиды той только пуще взбрыкивает. Что-то ты, друг Тимофей, на ходу засекаешься... «баба с возу»?! Вроде как от работы постылой избавился.

От работы?

А что? Может быть, и так...

Пришлось внимательнее глянуть на тщедушного охотника.

Вон он: крикает, отдувается, сопит, булькает своим чаем и выглядит вполне довольным, несмотря на исцарапанную харю, отбитый хрен и случившийся с ним конфуз.

Красавец.

И дураку ясно: наводка была. На вас с Княгиней. Или на одну Княгиню. Кому-то захотелось на вшивость проверить. Впрямь ли Козыри, впрямь ли в законе – или так, мелочь шпановая, шестерки на подхвате.

Или не так. Не сломала ли каторга? Не сгорели ли?

Ты как бы невзначай скосил взгляд на Княгиню – и обнаружил: Рашка-умница уже давно исподтишка наблюдает за ухарем-насильником и в карих глазах Дамы Бубен нет недавней тоски, злобы и безразличия.

Цепкий взгляд, оценивающий.

Взгляд мага в законе.

– Дык эта... – Долго сидеть молча Тимошка не мог. – По всему выходит, ты меня волшебной взяла! Иначе не сладить бы!..

Княгиня фыркнула. Улыбнулась загадочно, и тебе на миг почудилось: на месте немолодой женщины сидит облизывающаяся кошка. Финт?! Быть не может! На такие шутки Княгиня и без финтов способна.

– Не велика ты птица-щегол, охотничек, – волшбой тебя с бабы сдирать. Да и в завязке мы оба. Честные ссыльные; там, глядишь, крестьянами заделаемся... Батюшка из Больших Барсуков что сказывал? Отвратились от дьявола, встав на путь исправления! Уразумел, дурашка? Так справилась. Естественном. – И она снова улыбнулась.

Эй, Друц-приятель, видишь?! Что-то просыпается у нее внутри, рвется к поверхности, ища выхода. Вот-вот станет прежней Княгиней – встретались вы с ней когда-то, еще на воле...

Удушье.

Кашель. Хриплый, надсадный.

Женщину сгибает пополам.

Нет, не станет.

– Ну что, Друц, пошли? На стрелку бы не опоздать, – выдавила Княгиня, отдышавшись; и первой решительно поднялась на ноги.

– Дык и я с вами! Провожу, – подхватился Тимошка.

– А как же ватага твоя, морэ? – любопытствовал ты.

– А-а! – беззаботный взмах рукой. – Догоню! Я на ногу легок...

– Ну, смотри...

Да, кто-то дурака надоумил.

Кто? Зачем?

Можно, конечно, прижать ветошника как следует, вытряхнуть – и кто, и зачем. Прямо сейчас вытряхнуть.

Можно.

Нужно ли?

* * *

Долго ждать не пришлось. Вскоре из-за поворота послышался приближающийся топот копыт, перезвон бубенцов – и знакомые розвальни, влекомые парой «тыгдынцев», встали, как упали, в шаге от ссыльных, оставшихся невозмутимо стоять на месте.

Обдали обоих снежной пылью.

Странно: а вот лосятник заерзал, отскочил назад, но сразу, устыдившись, сунулся обратно – и едва не угодил-таки под копыта меринков.

– Поздорову бывать, Ермолай Прокофьич! – заторопился он поздороваться первым. Потянулся шапку сдернуть, скосил глаз на ссыльных; передумал.

А у тебя где-то глубоко внутри, там, откуда раньше вздымались жаркие волны власти и вседозволенности, закопошилось смутное подозрение. Так, ме-е-еленький червячок-дурачок... Эх, Друц-лошадник, и впрямь встал ты на путь исправления – обеими ногами! – червяк вместо волн, подозрение вместо уверенности...

Честным человеком становишься.

– Пошто харя-то подряпана, Тимошка? – вместо ответа на приветствие усмехнулся купец. – С рысью обженился?

– Кабы с рысью, то ладно... – шмыгнул носом Тимошка.

– Ну а вы-то как? Все ль путем? Отметились? Содержание получили?

Ты кивнул:

– Благодарствуем. Отметились, получили. Все путем.

– Ну, садитесь, што ли, шиш лесной? А с тобой, Тимофей, мы, считай, в расчете. За патронами опосля зайдешь...

Уже на подъездах к Кус-Кренделю сидевший впереди купец обернулся:
– Надо бы вам работенку какую сыскать, што ли? А то зачнете, значит, со скуки по новой дурью маяться... да и приварок не повредит – здоровьишко поправить.
– Ну и какую ж ты нам работенку сыщешь, благодетель? – промурлыкала Княгиня, обжигая дыханием овчину ворота. – От лишних податей тебя отмажить?
Долго смеялся купец; вкусно смеялся.
Видать, понравилось нездешнее словцо.
– А поглядим, шиш лесной! Покумекаем – авось и намыслим што путное!
Княгиня выбралась из саней первой, а тебя Ермолай Прокофьич соизволили до самой Филатовой избы довести (впрочем, все равно ведь по дороге – так и так едем...).
Прежде чем вылезти из саней, ты сунул руку за пазуху.
Извлек выданные урядником деньги.
– Вот. Филатовы три целковых с полтиной. Держи.
Купец подержал деньги в ладони, разглядывая, словно в первый раз видел, – а затем молча протянул тебе обратно рубль с мелочью:
– Оставь себе. Подкормишься опосля каторги.
– А Филат?
– А што – Филат? Считай, не должен он мне больше, шиш лесной! Так ему и передай.
– Что-то больно добрый ты, Ермолай Прокофьич. – Ты поднял на купца испытующий взгляд. – С чего бы это, а?
– Значит, так хочу. Сегодня я хочу, завтра – ты... Глядишь, с того хотения какой-никакой барыш выйдет. Бывает?
– Бывает, – кивнул ты.
– А ты заходи по свободе, заходи к Ермолай Прокофьичу! Махорочки там, харчишек – после каторги разговеться... Заходи. А там, глядишь, и насчет работы чего придумаем.
– Спасибо, Ермолай Прокофьич. Зайду как-нибудь.

...Червячок там, внутри, все копошился, понемногу разрастаясь.
Щекотно.

Заметки на полях

Если Ермолай Прокофьич соизволят не отвернуться, если удастся заглянуть купцу под его косматые брови, то можно мельком увидеть:

...ночь на переломе лета.

У черной заводи нагие фигуры замерли: пускают венки по воде, провозжают взглядами. Венки? Пустяки. Дальше кострище искрами до небес пышет, стращает рой звездных пчел. Над огнем тени взапуски носятся: визг, хохот, песни клочьями во все стороны. Тени? Песни? Ерунда. В самой чаще, в лесном подвале алый пламень зажегся. Папоротник-цвет. Мелькает, морочит, в руки не дается.

*Папоротник-цвет? Не дается? Дастся, куда денется!
Все клады откроет.*

* * *

Помнишь, морэ: джя ко пшал, ко барвало, нэ-нэ-нэ!..

И на два голоса:

На горе стоит избушка,
И в избушке той мороз.
Черепановые горы —
Куда черт меня занес?!
Ай, дэвлалэ, ай, со скердяпэ?!⁶

Да, ты еще помнишь.

⁶ Ай, господи, что мне делать?! (ром.)

Круг второй Поезд в ад

– Хороший маг – мертвый маг!
*Опера «Киммериец ликующий»,
ария Конана Аквилонского*

Прикуп

Господин полуполковник с пользой проводили досуг.

В гимнастическом зале маэстро Таханаги было изрядно темно. Сам маэстро, пожилой айн с вечной, словно приклеенной улыбкой, полагал сумрак неременной составляющей для понимания гармонии мира. На стенах, схваченные по краям бамбуковыми рейками, висели наставления с картинками: два-три иероглифа, и рядом – люди в странных одеждах, с ногами, заголенными едва ли не до срама, ломают друг друга.

Лица у нарисованных тушью людей были сварливо-задумчивыми.

Сидя на коленях, господин полуполковник изволили перехватить пухлую ручку маэстро Таханаги. Проводили ее влево и вниз; дождались ответного выпада и перехватили правую. Продолжили. Не прекращая размышлять о главном: о той причине, которая вынуждала князя Джандиери гнить уже который месяц в этом канальском Мордвинске.

Небось весь мордвинский «фарт» затаился по норам, дышат вполплотки! Самый распоследний ширмач, чей дешевый талант: глаза отводить да пальцы удлинять нечувствительно – и тот, халамидник, пьет горькую по кабакам, боясь носа высунуть.

Какова причина, господа, такова и речь, а значит, нечего породистые носы морщить – наш нос, горбатый нос рода Джандиери из Кахети, вдвое породистей!

Маэстро Таханаги, равно как и его столичный коллега, маэстро Сиода, полагали иное. С их улыбчивой точки зрения, за которой пряталась врожденная, звериная жестокость, в гимнастическом зале следовало вовсе не размышлять. В качестве аргументов приводились длинные афоризмы о природе не-ума, коему отдавалось предпочтение над умом обыденным; а также многочисленные образы луны на воде и ивы под снегом.

Господин полуполковник тоже улыбнулись в усы, на миг сверкнув белоснежным оскалом. Каждому – свое.

Новомодная борьба с плохо произносимым названием (все эти обезьяньи «тенти-нагэ» и «ваки-гатаме» изрядно раздражали господина полуполковника, но он терпел) стала популярна около трех лет тому назад. Вслед за благородным боксом по правилам маркиза Квинсберри и фехтованием на облегченных манхеймских эспадронах. Благодаря тем же британцам в клетчатых кепи, первым заключившим мир с воинственной империей айнов, – в результате чего одни островитяне избавились от вечной головной боли на другом конце света, в опасной близости от собственных колоний, а другие намертво закрепились на дальневосточном побережье азиатского континента. Даже популярные брошюры по боевому искусству айнов переводились сперва на британский, а уж после – на прочие языки.

Вот и приходилось читать нижеследующее:

«Ежели один джентльмен благопристойно стоит у рояля, а другой джентльмен плотного сложения, предположительно матрос или грузчик, намеревается оскорбить первого джентльмена действием, а именно ударом правого кулака в висок, то следует, не теряя спокойного расположения духа...»

Впрочем, при всем этом господин полуполковник отдавали должное айнским маэстро. Более того: одним из первых настояли на введении подобного курса для жандармов Е. И. В. особого корпуса «Варвар». А также на посещениях офицерскими чинами тех залов, где практиковали наиболее опытные азийцы. Нечувствительность к эфирному воздействию вкупе с курсом рукопашного боя в училище – дело славное, но лишнее умение никогда не повредит, а жизнь удлинит.

Кто знает, с чем столкнешься в сей юдоли?

Маэстро Таханаги вновь двинул руку наискось вперед, и пришлось отвлечься. Господин полуполковник давно заметили: многие действия маэстро (в столице было то же самое), неотразимые при демонстрации на учениках-соотечественниках, малоэффективны против человека силы и телосложения князя Джандиери. Тростник сгибается, противостоит ветру, но ведь и сила солому ломит. У каждого своя мудрость; у каждого свои взгляды на жизнь.

Преодолев сопротивление и отведя руку маэстро в сторону, господин полуполковник продолжили размышления. Искомый поезд прибывает в Мордвинск послезавтра. Местным жандармам были отданы соответствующие распоряжения: известной личности препятствий не чинить. Дальняя слежка; не более. До получения приказа, который, как прекрасно знали господин полуполковник, так никогда и не будет получен.

Большая игра.

Большие ставки.

Зря все-таки в столице его доклад так и не был принят к рассмотрению. Разумеется, по мнению закоснелых членов Государственного совета, в Е. И. В. особый облавной корпус «Варвар» берут отнюдь не за умение логически мыслить и делать правильные выводы, но... В каждом правиле есть свои исключения.

Зря...

Ладонь с запястьем пронзила короткая, но острая боль.

Прогнувшись, господин полуполковник попытались было оказать сопротивление, но боль только усилилась. Большой палец оказался надежно схваченным и вывернутым наружу, отчего любое движение лишь добавляло неприятных ощущений.

Цепкий, как макака, маленький айн улыбался без чувства превосходства.

– Ваша бдительность? – предупредительно спросил маэстро Таханаги, как всегда заменяя «л» на слегка картавую «р». – Ваша бдительность видеть? Маро против много!.. Ваша бдительность видеть ясно-ясно?

Хватка разжалась, выпуская прирученную боль.

Господин полуполковник кивнули в ответ без малейшей тени обиды. Умея проигрывать, научись побеждать. Зря все-таки мужи Совета не захотели рассматривать его доклад. Уж этот улыбчивый, пожилой маэстро рассмотрел бы – и понял.

Наверняка понял бы.

Ломать надо издалека и по мелочам.

По якобы мелочам, которые зачастую стократ важнее обманчиво главного.

– Благодарю вас, маэстро. – Легко поднявшись на ноги, господин полуполковник поклонились навстречу кроличьей улыбке айна. – Весьма признателен за науку. Если будет нужда, обращайтесь.

Служебная визитная карточка, несмотря на официальность, была кофейного цвета, с золотым обрезаем.

«Е. И. В. особый облавной корпус «Варвар», – значилось там. – Князь Шалва Теймуразович Джандиери».

И ниже мелким, плохо различимым шрифтом: «полуполковник».

VIII. Рашка-княгиня, или Шептухины отвары

Возвесели нас за дни, в которые ты поражал нас, за лета, в которые мы видели от тебя бедствие.

Псалтирь, псалом 89

Заболела.

Плохо.

Жар; бред. В груди саднит сердце, хочет дышать, а не получается. Нельзя сердцу дышать – захлебнется. Плохо. Чуждо. Родную-грудную жабу впору облобызать в безгубый, слюнявый рот, когда голубушка являет свой лик в редкие минуты просветления. Задыхаешься – а все свое-привычное: и удушья кляп, и наждачная терка кашля. Лучше так. Лучше? Не знаешь, не помнишь; не понимаешь. Ничего. Все кружится, подпрыгивает, стучит колесами поезда в ад, трясет на стыках – в ящик собралась, дура?! Нет уж, погоди-ка, помучайся всласть, подергайся дождевым червем, когда лопатой – пополам!..

Слышишь? Издалека, из прошлого, погребальной панихидой, горячим дождем по обнаженным нервам, твоим собственным голосом:

Заплатили
за любовь, за нелюбовь, за каждый выстрел.
Отстрелялись —
от мишеней лишь обрывки по углам.
Это осень.
Облетает наша память, наши мысли,
наши смыслы,
наши листья и другой ненужный хлам...

Заболела.

Плохо.

Ой, как плохо-то...

Куда-то исчезли ноги. Были, да сплыли; в темноту, густо усеянную колючими звездочками. Ноги мои! Ау! Где вы? Молчат. Не отзываются. Ну и ладно; не жалко. Вместо ног – рояль. Кабинетный, черный, лоснится глянец. Дегтем несет от него, от рояля-то, как от сапог того трупа, что у ворот... Труп? Уберите!!! Нет, все же рояль. Приоткрыл крышку, скалится в лицо пастью-утробой. Дышит мертвечиной, дохлыми гаммами – до-минор, си-бемоль... Рояль?! Почему? Откуда? Прохладные клавиши упрямо тычутся в пальцы, лащаются бесшерстной, костяной кошкой... хотите мазурку? вальс? ариэтту?! Вот уже звучит в огромном зале, меж свечами в канделябрах:

– Федюньша? – Пассаж булькает триолями. – Глянь, Федюньша: кончается али как?
– А-а... – отзывается слева гулкой, нутряной аккорд.

Рояль хохочет взახлеб и вдруг срывается в истерику. Звуки настырно суются в губы, как раньше клавиши – в пальцы; звуки каплями просачиваются в рот... нельзя! Уберите! Это яд! Это смерть! Из потаенной глубины всплывает врезанное навсегда знание: сейчас за него приходится страшно платить, но – нельзя! Яд!

Ад!

Звуки расплескиваются, горячо текут по подбородку.

– Не хочет, – воркочет издали смутное глассандо. – Зря к Шептухе ходила, яичек дала, капустки квашеной... Не пьет, порченая...

– А-а...

Слышишь? Издалека, из бывшего, которого больше не будет никогда, – ропотом умирающего прибора, в пену об скалы, вдребезги:

...в одну кучу
все заботы, все находки, все потери,
чиркнуть спичкой,
надыхаться горьким дымом и уйти.
Все, что было
не по нам, не по душе и не по теме,
не по росту,
не по сердцу и совсем не по пути...

Заболела.

Плохо.

Завтра будет хуже.

А послезавтра – лучше.

Правда?

Нет, Княгиня, ты действительно так думаешь?! Ты действительно...

* * *

Проснулась в поту.

Холодная.

Живая.

В крохотное окошко гурьбой прыгали солнечные зайчики. Весенние; линиялы. Бежали через приоткрытую дверь в сени, дальше, в горенку; резвились там на серебре риз, на фольговом золоте кивота... Дышать было трудно, но ноги оказались на месте. И никакого рояля. Сгинул проклятый. Только стучит где-то далеко, подпрыгивает на стыках – слышишь? – от клавиши к клавише, от шпалы к шпале... поезд.

Не в ад, нет.

Ближе...

Да, Княгиня, знаешь, это иногда хуже любой болезни: понимать и быть бессильной что-либо сделать. Это проказа души. Гниешь заживо, и не болит. Потому что вырвалась из жаркой, лихорадочной трясины – не за просто так. Потому что – поезд. Гудит на полустанках. Потому что упрямая Ленка Ферг, подельщица твоя договорная, так и говорила тогда: «Вытащу, мать! Разобьюсь, холера ясна, а вытащу!.. Сыграем еще в четыре руки?» Она говорила, а ты запрещала. Плохо запрещала, видно. Не послушалась Ленка.

Стучит поезд; дым из трубы – кольцами.

Везет.

И Сила теплится в животе робким огоньком.

Греет.

Скрипнула дверь. Сунулась внутрь, в камору... нет, не вдова Сохачиха, сиделка дармовая. И не корявый Федор с его вечным «А-а...». Старушонка сунулась: мелкая, жеваная, в засаленном салопчике под шубейкой. Печеная картошка вместо лица. Одни глазки блестят себе под кустистыми, мужскими бровями; глазкам интересно.

Углядели глазки.

Вон, на колченогой тумбочке: кружка.

Полная, до краев.

– Ишь ты... – треснул участливо старушечий, пустой рот. – Ишь... зряшное дело...
Уцепила кружку сухими, суставчатыми пальчиками.

Присела мышкой к топчанчику:

– Выпей, золотце! Полегчает...

Поднесла участливо; к самим губам.

Помнишь, Рашка? Ты тогда села. С размаху. Знала, что не сможешь, что шевельнуться – и то будто реку вспять; а все-таки села. Взяла кружку из добрых рук. А хотелось взять хрупкое, износившееся запястье нежданной гостьи; взять, как умела раньше.

Ладно, проехали.

Глянула в яркие, любопытные, ну никак не старческие – девчоночьи глазки.

– Отвар? Целебный?!

– Отвар, золотце! На семи травушках, на осьми корешках! Мертвенького подымет!.. Пей, не бойсь, за Шептухой злого не держится...

– Мертвенького подымет? А живого в гроб уложит?

– Шутишь, золотце? Славненько, коли шутишь, – знать, хворь отпускает...

– Это, бабка, поп отпускает, грехи-то!

А поезд все стучал где-то, все дарил подарки, приближаясь.

Вот и смогла: поболтала кружкой, расплескав тяжелые, душистые капли. Спросила – просто, жестко, словно давнюю знакомую:

– Ты зачем меня отравить вздумала, Шептуха кус-крендельская? Что я тебе сделала?

Старуха глаз-то не отвела.

Пожевала запавшими губами.

– Пей, – попросила.

Ты улыбнулась через силу:

– Сама пей. Поможет; от старости.

Вы смотрели друг на друга: неприкаянная Рашель Альтшуллер, маг в законе, ссыльная каторжанка в отставке, – и бабка Шептуха, каких много по деревням-селам, знахарка-платочница, мелочь ведьмачья, по чью рябую душу и урядник, не то что облавной жандарм из «Варваров», явиться постесняется.

Засмеют ведь.

– Жить шибко хочется? – не то спросила, не то самой себе сказала старуха. – Ну не пей, коли желанья нет...

Встала.

Качнулась прочь.

– Погоди. Погоди, говорю!

Задержалась.

– Ты кого обмануть хотела, старая? Меня, фартовую Даму Бубен?! Когда устану, сама к тебе приду, попрошу: дай глотнуть! Ты ж меня вовсе не знаешь! За что?! Что я тебе сделала? За какие вины не любишь?!

Сморщилась в золе печеная картошечка.

Потускнели глазки.

Налились свинцом.

– Отчего ж не любить, золотце? Люблю. Первой бы на могилке твоей убивалась. А коли б довелось и дружка твоего, рома гулящего, на тот свет спровадить – и вовсе б наплакалась всласть. Не зря, значит, небо коптила. Лады, чего уж там... не выпадет боле случая... – Помолчала старая. – Хошь, кончи меня, Шептуху. Тебе это как мне куренку башку свернуть. Прости, не прощай – все едино. Ненавижу вас, мажье семя... Жизнь моя никчemuшняя от вас – наперекосяк!..

– Садись, – сказала ты.

Шептуха бочком присела на край топчанчика. Не постеснялась; глядела тихо, просто. Во взгляде плескалась... ненависть? Нет, боль. Тоже не старческая – ясная, живая.

– Тебе, золотце, штоб на любовь тесно приворожить, – прошамкал пустой рот, – чего было надобно-то? Там, на воле?

Ты и хотела бы скрыть усмешку, а не вышло.

– Вода. Шампанское. Ничего. Зачем спрашиваешь?

– А затем, золотце, што мне твое «ничего» – цельный год по сузему за корешками ползать. На карачках. Да морщины ранние – вона, всю рожу пометило! Да пальцы заскорузлые. Да горб на спине. А ты смеешься: «Ничего, мол! Шампанеи стакан!» – и хочешь, штоб Шептуха твою породу любила! – Старуха умолкла; перевела дух. – Ай, золотце, и я девкой-дурой была! мамку не слушалась. Мамка умная была, так и баяла: «Сове – свой талант, соколу – свой! Сиди дома, дитяtko, не рыпайся, не клади лишнего стыда на буйну голову!» Не поверила я мамке-то! Ажно в самый Мордвинск убегла. Думала: многое не по годам могу – коров глазить, следок вымать, на любовь-дружбу, на вражду-остуду шептать... мне тогда человека спортить – полугодье, не боле!..

Вот теперь ты сдержалась.

Не улыбнулась.

– А ты смейся, смейся, золотце, коли невтерпеж!.. Смейся над старой. Я и сама б посмеялась, да зубов нет, не достать мне нынче до смеха, не дотянуться! И впрямь потеха: молодая Шептуха из стольного Кус-Кренделя по граду Мордвинску вприсядку шагает, вашего брата по тайным хавирам ищет – возьми, матушка-батюшка, в науку! Отслужу! Под скольких легла, прежде чем на самого вывели, – то тебе знать не надобно. Много их было, липучих. Но вывели; не нашавили. Сам махонький такой, а глас – ровно из бочки. Чистый протодьякон. Сказывали: трупарь знатный. Коли надобно мощи поднять да баять принудить – лучшенький. Встала я перед ним, вот как сейчас пред тобой...

Дальше ты уже не слушала. Незачем. Вечная история: деревенская девка из семьи потомственных платочниц бежит в город. Без паспорта, без знакомств; наобум. По хавирам бродит, в науку просится. Перед всяким подол задрать горазда – лишь бы... больше-то платить нечем. А этой, Шептухе кус-крендельской, еще и под конец не повезло: на трупаря вывели. Некроманты – масть глухая, окаянная, их в любой кодле стерегутся... Трупарю ведь по суду – не каторга. Петля да варавское мыло, вот и весь приговор. Вышла, значит, девка, на самого... Выслушала, значит, все положенное.

Под завязку.

Хорошо, хоть метку на память не оставил.

Или оставил-таки? Вон, кружка полна-полнехонька...

– ...и поехала я, золотце, домой. Еду, а сама все думу думаю: отчего ж прогнал? Оттого ль, што не глянулась? Оттого ль, што девичью честь, его добиваючись, не уберегла? Еще какие резоны вздумал, трупарь-то? Мамка даже не ругалась – так, за косу оттаскала... Оттаскала да и расплела. Кто блудную Шептуху замуж возьмет? вот и отмыкалась свой век – вековухой. А ты, золотце, хочешь любви Шептухиной... Я в тебе не тебя травила, я в тебе долю мою загубленную травила! Ладно, будет тары-бары растабаривать! Пошла я помаленьку...

Заметки на полях

*Если поймать на лету тусклый, старушечий взгляд, если не успеет Шептуха отвернуться, то само углядится:
...камень.*

Большой, склизкий. Понизу моховой бородой оброс. Сверху трещина змеится, наискосок; рядом настоящая змея на солнышке греется. Положила треугольную голову камню на макушку, дремлет. Хороший камень, сладко на нем гадюке спать; сладко мокрицам под камнем, в прохладе да сырости, жить-поживать.

Есть от камня польза: какая-никакая, а приятно.

Давно он тут лежит, камень-то.

* * *

Твой возглас застал старуху в сенях.

Остановил.

Хорошо, изба пустая; никого.

– Я тебе завидую, старая. Жизни твоей завидую; ненависти молодой завидую. Не поняла ты ничего, а я и сказать тебе не могу. Права не имею, раз в законе. Одно скажу, не побоюсь: не потому тебя трупарь прогнал, что девичья честь твоя ему занадобилась. Любой бы тебя погнал, хоть видок, хоть фортач, хоть я сама, попадись мне такая девка, вроде тебя...

– Пошто ж? – донеслось из сеней еле слышно. – Пошто так, золотце?! Говори!

– Умела ты много. Заранее. Не вышло бы из тебя крестницы-подельщицы. Скажи спасибо своему трупарю – жизнь он тебе сохранил. Вот ты ее и прожила.

В сенях долго молчали, прежде чем хлопнула внешняя дверь.

И тебе на миг показалось: стоит на крыльце молодая, ядреная девка, мамина дочка. Русая коса заплетена туго, глаза лучатся, бровь соболиная... и ни в какой Мордвинск ей не ехать.

Никогда.

Показалось – и сгнуло.

IX. Друц-лошадник, или Последний парад наступает

Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их! Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих; сеть расторгнута, и мы избавились.

Псалтирь, псалом 123

...С лентяями-рубщиками, со второго на третий обтесывавшими сучья на поваленных стволах, ты уже замаялся ругаться.

Нет, то есть рубщики, конечно, в лентяях не хаживали. Язык не повернется упрекнуть в лени того, кто по собственной воле впрягся в работу, на которую гоняют подконвойных каторжан, в наказание. Но на торчащие во все стороны сучья им было плевать. А лошадям, понимаешь, из последних сил надрываться, тащить цепляющиеся за что ни попадя стволы к реке, туда, куда через месяц-полтора придут плотогоны-лободыры, чтобы начать сплав!

Лошадей ты жалел. Людей – нет. Этих никто не заставлял, сами впряглись. Однако и ругань, и увещевания (ты ведь не скупился, Друц, щедро одаривая и тем и другим?!) помогли плохо. На упрямого рома смотрели как на придурка, головой скорбного.

– Што? Сучья? Неча нам с тобой, варначья душа, лясы точить! Тут лес валить надоть, а он – сучья!

– Да лошадей ведь загоните, ироды! И так уже по балкам чуть что не замертво валятся! Грязища по брюхо!

– А тебе-то што? Выдюжат...

И хоть кол им на голове теши, лешакам мохнорылым!

Приходилось все время таскать с собой топор и буквально на ходу подравнивать стволы. Толку чуть, а все-таки. Однако другие возчики даже этой малости делать – и то не думали: умучивали своих четвероногих подопечных до полусмерти. Вот ведь дурачье, одно слово – ветошники! Ну не жалко вам лошадей, так о себе подумайте! Падет один из битюгов – сразу все выигранное время на вывозке и потеряете! Да и денег она стоит, лошадь-то.

Нет, не понимают...

Уже у самой груди сваленных на берегу стволов вороной тяжеловоз вдруг споткнулся – и пошел кособоко, чуть вихляясь из стороны в сторону. Но здоровенную сосну до общего штабеля все-таки дотащил, умница.

Встал.

Ты развязал постромки, удерживавшие лесину на волокуше. Битюг грудью подался вперед – и ствол послушно сполз в грязь, рядом со своими собратьями. Приблизясь к тяжело поведившему боками коню, ты похлопал его по мокрой холке. Обождал немного, не отнимая ладони: вот так поддержишь руку на конской спине – и лому в суставах на время отпускает. Это ты уже давно заметил. Финты здесь ни при чем. «Естество», как любит говорить Княгиня.

Да и конь славный, хоть и староват уже. Эх, завалить бы его с ромом-подручным, да маленькой стамесочкой в нижних зубах ямочки вынуть, да потом между зубами верхними лишку мяса выбрать по-молодому – на ярмарке, морэ, за восьмилетку сошел бы!..

Ай, сыр мэ джява по деревне, дорэсава балавас...⁷

Передохнув сам и дав успокоиться битюгу, ты занялся осмотром копыт. В хвост, в веру, в тридесять праведников! Подкова на правой задней ноге треснула пополам, и половинка ее уже где-то потерялась, а вторая болталась на одном гвозде, мешая коню при ходьбе.

Силы в руках оставалось еще порядком, достало просто-напросто выдернуть разболтавшийся гвоздь и зашвырнуть куда подале. Вместе с остатками подковы. Руки-ноги кузнецу поотрывать за такую работу! Ну ничего, на заимке подков запас есть, и гвозди сыщутся – подкуем в лучшем виде, будешь как новенький...

Ты ласково потрепал по шее кряжистого битюга – и крикнул долговязому возчику, что как раз подводил к соседнему штабелю свою пегую кобылу:

– Степан! Слышь, Степан?! У меня Уголек расковался! Схожу на заимку – вернусь!..

Неразговорчивый бобыль Степан молча кивнул, и вы с битюгом неторопливо зашлепали к заимке.

Вязкая мартовская грязища, размешенная вдрызг подошвами, подковами и волокушами, вскоре осталась позади; под ногами мягко пружинила влажная прель прошлогодней хвои. Шагалось легко, и дышалось легко, полной грудью. Ты даже позабыл на какое-то время о ноющих суставах и прострелах в спине: лес пах стремительно надвигающейся весной, прозрачной голубизной неба, набухающими почками и молодым бурлением жизни – пока еще подспудным, скрытым, но это ненадолго!

Весна властно брала свое.

Вон и Княгине в последнее время явно полегчало. Как от лихоманки встала, так и ожила. Весенний воздух помог? Урезонил проклятую жабу, что в груди у Рашки кубло свила? Возможно. Но это вряд ли. Уж тебе-то, Друц ты беспутный, хорошо известно, какова эта жаба и чем ее, паскуду, урезонить можно. Считай, что и ничем.

Кроме такой малости, о которой и мечтать-то грешно.

Неужели? Неужели Бубна-крестница все-таки решилась?! Узнала, отыскала... Да нет, ерунда, быть не может! Могло ведь Княгине и просто полегчать, пофартило напоследок...

⁷ Пойду я по деревне, наберу свинины... (ром.)

Могло.

Но ты ведь сам не слишком в это веришь, правда?

Впрочем, в то, другое, верилось куда меньше.

* * *

Над заимкой курился уютный, домашний дымок.

«Княгиня кашеварит», – догадался ты. И вправду, мигом потянуло вкусным запахом созревшего кулеша на смальце: Княгиня и без всяких финтов ухитрялась готовить нечто особенное из, казалось бы, почти несъедобных продуктов. В животе по-кошачьи заурчало, замаякало. Вывозка по весне – она способствует... Эх, пошамать бы сейчас! Княгиня-то не откажет, пайку от души отвалит; но – нельзя. Потому как запахло это: пока другие корячатся, вольнить да брюхо набивать. Пусть они тут все и ветошники сиволапые, а один хрен: в общий хомут впряглись...

– Что, Друц, шабашить?! – весело крикнула Княгиня еще издали, завидев бредущего к ней Пикового Валета и его прихрамывающую лошадь.

Она даже помолодела, что ли? Волосы отросли, на щеках забрезжил румянец, разгладись морщины, а в глазах нет-нет да и мелькал знакомый шальной блеск. Чудо, да и только! Однако ты лучше многих знал: чудес на свете не бывает. Вернее, бывают – но тщательно подготовленные такими, как вы с Рашкой.

Такими, какими вы были до проклятой каторги.

– Где тут шабашить?! Вот, Уголька ковать веду. По-быстрому.

– Ну, вы прямо сговорились! Получасом раньше Федюньша пришкандыбал: рубцику из Заозерья ногу лесиной привалило – так он вызволять кинулся. Лесину сам-друг поднял, мужика и выволокли. Заозерцу хоть бы хны – целехонек! – а Федюньша мало что пупок себе не развязал. Вон, в избе лежит, стонет.

И впрямь, из ближней избы-конторянки доносились некие странные звуки, которые ты поначалу принял за вой ветра в трубе.

– Ничего, оклемается! Его пупок всей деревней развязывать – намаешься... А, Акулька-девка! Соль принесла?

Действительно, рядом с Княгиней, держа в обеих руках полотняный узелок, возникла запыхавшаяся Акулька из многочисленного семейства Луковок.

– Принесла!

– Ну так присядь, отдохни. Сейчас кулеш готов будет...

– Ой, нет, спасибочки, тетя Рашелька! Дома заругаются! Мне еще сегодня куделю прясть, мамке со стиркой пособить... Бегти надо.

В лице Княгини что-то едва заметно дрогнуло.

Как струна с пальца сорвалась.

– Ну, тогда сходи в лабаз, возьми солонины кусок да сухарей – домой. Мужички-то не обеднеют, а у вас, я знаю, в избе – шаром покати. Батя, поди, пропивает все? Друц, ну хоть ты б ему вломил, что ли?!

– Ой, спасибочки...

Акулька потупилась, словно ей вдруг стало стыдно за свою родню. Шмыгнула носом и стремглав умчалась прочь, свернув за угол избы, туда, где был устроен лабаз с припасами.

Уголек неожиданно дернулся, шумно фыркнул – и попятился.

Ты успокаивающе потрепал коня по шее и, обернувшись, увидел выбирающегося из конторянки Федюньшу Сохача. Нет, конечно, испуг коня был где-то понятен: крестный сын вдовы Сохачихи и без того выглядел страшилой чащобным, а сейчас и подавно! Здорovenный пар-

няга, способный в одиночку справиться с тяжелой лесиной, весь скособочился и шкандыбал нынче даже не по-человечески, ворочая непослушное тело из стороны в сторону.

И все-таки: чтоб его лошади пугались?!

– Куда прешь?! – строго прикрикнула на болящего Княгиня. – Иди ляг, дурила!

– А-а...

– Чего «А-а...»?! Чего «А-а...», я спрашиваю?!

– Водицы б испить, – прохрипел в ответ Федюньша.

И поковылял вслед за Акулькой за угол – там стояла бочка с питьевой водой.

– Эк его... – только и смог выговорить ты.

Уголек снова фыркнул, шархнулся в сторону, увлекая за собой пустую волокушу, но ты успел удержать битюга за уздечку.

– Тпр-ру! Балуй мне! Вот сейчас подкуем тебя, красавца...

И в этот момент из-за избы ударил, разом заложив уши, отчаянный, истошный визг.

Визжала Акулька.

А глотка у девки была – иерихонская.

Стены рушить.

Заметки на полях

Если крепко ухватить за вихры Акульку Луковку, а она не зажмурится от страха смертного, то меж серыми искрами ее глаз можно разглядеть:

...ива.

На берегу, у самой воды. Отчего плакучая? Веселая ива. Весенняя. Склонилась ветвями к плеску-щебету, клейкими листочками вся обвешалась. Одинокий муравей по стволу карабкается. Два щегла в кудрях запутались, друг перед дружкой песнями щеголяют. Треплет ветер желтые косы, расплетает ленты, охальник. Ну и ладно, хоть день, да мой. Пусть.

То не ива – девка; и не девка – ива.

Не подумайте.

* * *

Угол избы-конторянки сам прыгает навстречу, уходит в сторону.

Вот она: визжащая Акулька с вытаращенными от страха глазами. Лежа на спине, судорожно пытается отползти назад, увязая худыми лопатками в мартовской грязи.

Рядом, возле бочки с водой, кривобоко ворочается Федюньша, норовит уцепить лежащий рядом топор-колун. Тело не слушается здоровяка – это тебе знакомо, козырной Валет? Ох как знакомо! – но парень буквально переламывает себя, пальцы вцепляются в топорщице...

Выпрямился.

Неужто это девка скорбного чревом Федюньши так испугалась?! Вон и Уголек...

От лабазной ямы боком вывернулась бурая, лохматая туша, зашлась грозным ворчанием. Ах, зараза! А ведь конь чуял, предупредил!

Медведица!

Небось лишь на днях из берлоги выбралась. Матерая, лютая. Учюяла запасы в лабазе, сунулась харчить – а тут парень с девкой.

Зверина была оголодалой после спячки, со свалывшейся, висевшей космами шерстью – но нор у лесной хозяйки был княжеский (прости, Княгиня!), и перла она «кабаном», на всех четырех, не вставая на задние лапы.

Такие – самые опасные.

Сглазил, ром?! Словно подслушав твои мысли, медведица разом поняла, кого из этих двоих стоит опасаться, и, не обращая внимания на визжащую девку, двинулась на Федюньшу.

Парень не сробел: набычился, неуклюже сунул вперед топором.

Будь сейчас крестный сын вдовы Сохачихи в полной силе (а силушка у оглобли на троих мерена!) – зверине бы не поздоровилось. А так: топор лишь краем скользнул по черепу, рассек лапу – но слабо, неопасно...

Глухой рев, взмах страшной лапы, и парень, охнув, отлетел в одну сторону, а топор – в другую.

Дело было плохо, плохо с самого начала, но теперь – и вовсе швах. Медведица разъярилась не на шутку; если ее сейчас не остановить – собирать рубшикам клочки по закоулочкам! А как остановишь? Ружья-то нет, и рогадины под рукой нет, и ножа медвежьего, а даже и будь он, ножик...

Знакомая волна робко плеснула внутри. Помедлила, вопрошая; застыла в зените. Ринулась во все стороны звенящими, гитарными переборами, горячим варом шибанула в голову, в забубенную головушку Валета Пикового, Дуфуни Друц-Вишневого; последним хмелем опьянила, повела, и ты понял остро и шало, идя душой в таборной пляске: да, только так!

Никак иначе.

И еще ты понял, что жизнь – хорошая штука.

Была.

В следующий миг волна с ревом исторглась наружу.

* * *

Миг силы, миг власти.

Миг хмельной воли и вседозволенности.

Миг, за которым – смерть.

Моргни – уйдешь.

Но Безногая уличной побирушкой обождет у порога. Время еще есть, времени еще навалом – дожить взахлеб.

Успеется.

– Ай, красавица, зачем плачешь? Зачем добрых людей пугаешь?! Лапку порезали, да? Болит лапка? Ничего, сейчас папа поцелует, и все пройдет... правда?

Пальцы утопают в жесткой косматой шерсти. Гладят, расправляют; ладонь накрывает рану, и ты чувствуешь, как из медвежьей лапы в ужасе бежит боль, как останавливается, мгновенно сворачиваясь, кровь; и вот уже выражение влажных звериных глаз меняется, в них больше не клокочет смешанная с болью ярость – в них благодарность и... удивление? Удивление – у зверя?!

Да.

Да! Ай, мама, дэвэл дэла, ай нэ, дэвэл дэла!..⁸

– Ну вот, видишь, все прошло. Ты паренька не трогай, это он с перепугу. Он больше не будет. Ты его не трогай – и он тебя не тронет. Договор дороже денег?

– Договор-р-р, – ворчит медведица. – Дор-р-роже...

По-своему, по-медвежьи – но сейчас тебе плюнул в рот двухголовый змей Лэннали, и нет для тебя языков звериных и человеческих, а есть единая речь.

⁸ Ай, мама, даст бог, ай, даст нам бог!.. (ром.)

Пальцы, став вдруг послушными и ловкими, как раньше, чешут медведицу за ухом, за другим, под нижней челюстью – и хозяйка блаженно жмурится, расслабляется, откидывается на спину, подставляя впалый живот.

Невидимые нити, связывающие вас, трепещут, пронизывая все тело (тело? душу?!) сладостным ознобом невозможного. Но сейчас для тебя нет невозможного, сейчас ты – бог маленького мирка, Эдемского сада, где живут двое: ты и медведица, которая отныне послушна тебе, которая выполнит все, что ты ей скажешь...

Нити натягиваются.

Вибрируют от напряжения, и дрожь их огнем отдается внутри тебя.

Все. Силы на исходе. Но ты успеешь. Последний посыл, последний приказ, последний финт – и тогда уж точно все. Можно будет расслабиться. И пожалуй, улыбнуться.

Но это – потом.

После.

– Ну все, все, красавица. Хватит лизаться. Теперь – иди отсюда. Тут люди, тут тебе не место. Лес большой, прокормишься. А сюда приходить не надо. Поняла? Не надо! Вижу, вижу, поняла. Ты ведь у меня умница, умница и красавица! Давай на прощанье, хором: пиро Можайско дром, хачи ли тэ... Вот по большой дороге по Можайской коней я гнал, ах, мама, краденых... Ну ладно, иди!

Прощальный шлепок – и медведица, пару раз оглянувшись через плечо, споро трусит прочь. Нити натягиваются, натягиваются – и начинают рваться, подобно гитарным струнам, отдаваясь дергающей зубной болью. Осталось три... две... одна... А-ах! Последний рывок отозвался особенно сильно. Ты застонал, стиснув зубы. Медведица, больше не оборачиваясь, исчезла за деревьями.

Вот и все.

Теперь можно расслабиться.

Теперь все можно.

Теперь...

Страшная судорога выгибает изнутри, ломая и корежа, твое многострадальное тело – и перед глазами вспыхивает чернота той ночи, которой не будет конца.

Вот теперь – действительно все.

Прими, Господи, душу...

Х. Рашка-княгиня, или Ай, мама, грустно было...

Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие!»

Псалтирь, псалом 89

– Дру-у-уц!.. Ай, баро...⁹

Он лежал – неловко, боком, по-детски свернувшись калачиком. Острые колени подтянулись к самому подбородку; струйка слюны липкой ниточкой ползла на плечо, оставляя дорожку садового слизня. Еще теплый снаружи, еще теплый лежал он, улыбаясь, но ледяной изнутри, и душа гулящего Дуфуни Друц-Вишневого, рома сильванского, душа Ефрема Жемчужного, кузнеца из Вильно, душа бродячего цирюльника Франтишека Сливянчика, лихая душенька мага-рецидивиста Бритого...

Сколько имен ни вспомни, подлинных и придуманных, сколько ни назови, выкрикни без голоса в стылое небо – пустая забава.

⁹ *Баро* («большой») или баро шэро («большая голова») – в ромских таборах так звали вожаков или уважаемых людей. Отсюда наслоение «барон» – в том же значении.

Гиблая.

Книжная; не наша.

Хрустела душа его коркой ноздреватого наста под сапогами судьбы. Ломалась, топорщилась острыми краями, подтекала грязью, отдав последнее и ни капельки не жалея – ни о чем.

А тело без души что душа без тела – все едино, и некому оспорить.

– Что ж ты так, Друц? – бессмысленно шептала ты, не замечая остолбеневшей в священном ужасе Акульки, не слыша лошадиного храпа Федюньши, сидящего у бочки прямо в талой луже; ничего, ничего не замечая и не слыша. – Что ж ты так?.. Зачем?..

Молчание.

Скорбное; не молчание – панихида.

И лишь далеко, там, в туманной дали, остро пахнувшей свеженадрезанным огурцом...

И лишь где-то, по рельсам, стонущим навзрыд, опытной шлюхой под лаской случайного гостя...

И лишь от полустанка к полустанку, от безысходности к надежде, пугая галок утробной отрыжкой гудка...

...колеса, колеса, колеса...

Поезд.

Ближе.

Рядом.

Так и открылось вдруг глазам – не тем, что блестят напоказ стыдной, непрошеной слезой, а другим, видящим, но невидимым для слепых ветошников: перрон. Мордвинский перрон. Теснятся ожидающие, голосят кряжистые носильщики, выпячивая казенные бляхи. Бабы варенцом торгуют, пирогами, курами; мальчишки шныряют. Чемоданы, баулы грудями. Оркестр гремит медью. Все как везде. И сходит на тот перрон, легко неся в руке дорожный портплед, молодая женщина – видишь, Княгиня? Нет, ты и впрямь видишь?!

«Вытащу, мать! Разобьюсь, холера ясна, а вытащу!.. Сыграем еще в четыре руки?!»

Ах, Ленка Ферт, упрямица ты моя!.. Спасибо, что не послушалась, Девятка козырная, свою Даму Бубен. Не за себя спасибо. А Мордвинск – это ведь рядом... это уже рукой подать для законного марьяжа.

Помнишь, Ленка, какой я была?

А ты сама, Княгиня, ты помнишь?!

Помню.

Такая и есть.

* * *

Вскинула голову.

Повела взглядом, рассыпав искры по лужам.

Грязь – в паркет.

Лужи – в восковые потеки.

Прошла балетной примой, пробуя марьяж.

Свечи! И сотни канделябров, шандалов, розеток из старого серебра везде: на замшелых стенах изб-конторянок, в черном зеве лабаза, в кедровнике по левую руку, по верхнему краю бочки с водой!

Есть.

Скрипки! И клесты на ветках сами себе поразились: куда там курским соловьям, куда там Яшке Хейфецу, венскому кумиру!.. Поем, братцы, трепещем горлышком, ведем кантилену всем на зависть!

Марьяж длился.

Оркестр! И безумная капель рояля бросилась вниз головой с еловых ветвей, чтобы вместо смерти окунуться в свиное уханье контрабаса; гобои пузырями всплыли из неблизкой Шавьей трясины, навстречу гобоям откликнулись солнечные трубы, звонко скользя бликами по верхушкам леса, – недоигранный вальс мсье Огюста Бернулли, последнего властителя душ, который насмерть запомнила ты перед каторгой, вступил в свои права.

Время.

Пока марьяж длится.

– Вставай, баро!

Не слышит. Не хочет слышать. Лежит; не лежит – уходит.

– погоди, баро!

Услышал.

Остановился.

– Вставай, говорю!

Лежит. Не лежит – стоит, ждет. Вот-вот дальше отправится: на последнюю откочевку. Упрямый попался... Да только с каких это пор Валет Даму переупрямит?!

– Иди ко мне!

Ну вот, послушался. Идет. Не идет – встает. Сперва тяжело вздрогнув остывшим телом, хрустнув мертвой валежиной; затем – на четвереньки, ткнувшись в грязь кудлатой головой.

– Ну?! Долго мне ждать?!

На колени.

Это правильно, Друц: перед Дамой – на колени.

Это ты верно понял.

А теперь – вставай.

– Пляши!

Стоит. Не стоит – ждет. Когда отпустят. Никогда, баро, никогда не отпустят; вернее, когда-то, но не сейчас. А сейчас: раз-два-три, раз-два-три, и не важно, что вальс лишь недавно утратил постыдный титул пляски развратников, совершенно не важно, потому что скрипки... и гобой... и шелест, шуршание шелка – чш-ш-ш, не мешайте...

Ты не любишь вальс, ром сильванский?!

Хорошо.

И зарыдали скрипки ночным табором, вспенили плач кудрявым воплем, и звоном ножей о ножи ответили гитары, извиваясь гадюками под смуглыми пальцами, и хрустнули в чаше кастаньеты, а сотни свечей стали пламенем костров, тех костров, меж которыми шли в пляске мужчины с седыми висками, мужчины в алых рубахах с широкими рукавами, схваченными у самых запястий, и смуглые женщины нервно вздрагивали плечами над вихрем разноцветья юбок, моля о пощаде.

– Пляши!

Потому что марьяж.

Потому что: ай, мама, грустно было, ай, тоска змеей по сердцу – ветром в поле, пылью в ветре, на заре лучом рассветным, я с тобой останусь, мама, я тоску заброшу в море!..

– Пляши, говорю! Слышишь?!

О да, баро, ты слышишь...

Ты пляшешь.

Никуда ты не уйдешь, глупый храбрый Друц, – ведь поезд у перрона, а это рядом, совсем рядом... марьяж.

Видишь – и я пляшу с тобой.
Мы живы.
Оба.

...Когда ты без сил упала в грязь, привалясь спиной к холодному краю бочки и скользя в беспамяństwo, чья-то рука поддержала тебя.

Не рука – лапа.
Надежней некуда.

– А меня... – хрипнул Федюньша в самое ухо, насмерть обжигая дыханием. – А меня так плясать выучишь?!

Напротив, на коленях, вытащенным из омота сорванцом, плакал Друц-лошадник.
Обнявшись с самозабвенно воющей Акулькой.

* * *

Вторник... Да, кажется, это был вторник.
Или среда.

И до воскресенья все было в порядке: это снаружи, с фасада, если не вставать на цыпочки, не приникать любопытными гляделками к тайным оконцам – но вставать и приникать здесь, на кус-крендельских засеках, было некому.

Явившись гурьбой вечерять, рубщики с возчиками куда более интересовались сытным кулешом на смальце, нежели выжатым, как тряпка, ссыльным варнаком Друцем. Языкатая Акулька, по счастью, успела к тому часу сбежать домой, не забыв прихватить узелок с дарами харчами, а от корявого Федюньши и слова-то лишнего шиш дождешься! Да, медведица. Да, в лабазе. Да, топором, ан не сдюжил. Да, погнал – вот он погнал, ссылочный. Да, ушла, а он свалился. Может, испужался? Может, и испужался. А может, и нет. Плясали оне потом, с Рашелью-стряпухой.

Да, на радостях.
Камаринскую; с вывертом.

Рубщики слушали, возчики слушали, и порешили берданку теперь на видном месте оставлять, а не в избе на гвоздике. Чтоб опосля лишнего плясать не приходилось – а сразу, пулей или жеребьем...

На том и забыли.

Тем паче, что с завтрашнего утра оклемался он, Друц этот, – Уголька подковал и на вывоз отправился.

Чего зря бока пролеживать?

Так до воскресенья и не поговорили начистоту – ведь правда, Княгиня?! – ни ты с ромом, кого от Безносой вкрутую отплясала, ни ром с тобой, кого он от зверя дикого собой загородил. А говорить было о чем. Не о медведице-матке, что миром ушла от вкусного лабаза: еще бы не уйти, когда Валет Пик лег на прикупе, рубашкой вниз! Не о пляске животворной: где ж тут помереть спокойно, когда не трупарь Крестовый – сама Дама Бубен велит вприсядку!

О другом.

Ну, например, о малом пустяке: откуда у ссылочной шавки, Рашки Альтшуллер, сил не на лишний вздох – на Обратный Хоровод достало? И козыря отыграть, и самой вернуться?

Или о другом: Акулька-дура небось трещит сейчас по всему Кус-Кренделю сорокой-балаболкой... Это ведь не страшной Сохач, коему язык лаптем оттоптали, это всем девкам девка, даром что рябая! В самом Мордвинске аукнется... А магу-рецидивисту, что на поселении в прежний грех ударился, от властей по Уложению о Наказаниях одна забота – конвой, да барак,

да каторжная ходка по новой. Это если состава преступления не было: одна дурусть, и ничего больше. Ин ладно, есть смягчающие – это, значит, под палки не положат.

Спасибо по гроб жизни.

И не скажешь ведь девке: помолчь, подвяжи язычище веревочкой! От таких просьб аж слюна горлом идет – до того растрепать охота...

Знаешь, Княгиня, – пожалуй, тебе было тяжелей всего не заговорить с Друцем о случившемся. Ведь поезд уже отошел от перрона, отгудел, отстучал... А сила осталась.

И раньше худо было, а сейчас – так и вовсе.

Сыграем в четыре руки?!

* * *

...В субботу работали. Но с полудня отправили Степку-бобыля, молчаливого возчика из Дальних Порогов, в евойное село. За водкой. Телегу выделили, все чин чинарем. Не подкачал Степка – живо обернулся. Засветло. Это, значит, те работнички из окрестных деревенек, что к вечеру желали по родным домам разбредаться, к женкам в нагретую постелю, оченно благодарили дальнепорожца за заботу.

Хмельными языками.

Эй, женки! Мы иде-о-ом!..

А кускрендельчане здесь же и переночевали, в конторянках, до святого воскресеньца. На рассвете отправились, непрспавшиеся, но добрые – цельный праздник впереди, чего зря Боженку гневить?

Вот: идут уже по окраине, распугивая собак, вовсю горланя «Фартовую печальницу», выученную с субботы по натырке веселого Друца:

А кому маруха,
Кому смерть-старуха,
Кому мать-кутузка,
Прокурорский суд...

И ты, Княгиня, с Валетом Пик на два дурных голоса с переливами, чтоб ветошники сиволапые хоть на миг себя кодлой-матушкой почувствовали:

А меня, жигана,
Шлепнут из нагана
И вперед ногами
На погост снесут!..

Что, тоже весело?

Брешут собаки, заливаются; стоит у ворот купеческой хоромины самолично Ермолай Прокофьич, альтруист хренов.

Да, Княгиня, ты подумала и едва не расхохоталась в голос: до того смешным показалось умное словцо «альтруист» в родимом Кус-Кренделе, где теперь век вековать!

«Так уж и век?» – спросила сама у себя. Ведь поезд... перрон...

«Так уж и век», – ответила.

Ленку Ферт за любовь ее отчаянную под петлю с мыльцем подвести – гнилое дело.

– Эй, ссылочные! А ну, заходите, угощу!

Мужички с завистью глянули на вас – ить не ерш-рыба, ить сам Ермолай Прокофьич на стакан кличет! А Филат Луковка, тот и вовсе аж худым гвоздем скрючился, до того завидки пьянчугу взяли... Хотел было что-то злое брякнуть, да уперся взглядом в купцовы очи и прикусил язык.

Дальше зашлепал, к родимому очагу, к строгой Пелагее.

А вы кочевряжиться не стали.

Зашли.

Заметки на полях

Если он заглянет тебе в глаза, этот Друц, если позволит задержаться – лицом к лицу – больше обычного, то рухнешь навзничь, раскинув руки крестом, в беззвучный крик:

...ай, мама!

Догорели, сизым пеплом стали угли; ночь в степи бредет неслышно, чабрецом, польнью пахнет. Ветер гривы заплетает жеребцам, уставшим за день, ветер меж шатрами танцует, ай, чявалэ, пляшет ветер... Там, за далью, вторит эхо: пой, гитара! плачь, гитара! смейся! И звенят мониста, рассыпаясь по простору...

Нынче утром встанет солнце.

Нынче утром я не встану.

* * *

– Как велишь, благодетель? – неприятливо осведомился Друц, шагая рядом с Ермолай Прокофьичем по широкому двору. – В нижние хоромы, в зимнюю подызбицу идти? Или на крыльце погударим? Ишь, каково крыльцо-то у тебя – перильца, ступенечки, ставенки резные, окна расписные...

Купец словно и не учуял подначки.

Остановился, мечтательно огляделся по сторонам; зачем-то хлопнул Друца по плечу.

Ве-есна, дескать!

– Что, неужто в верхние горенки зазовешь? – не унимался Друц, на которого сегодня болтливый стих напал. – Честь, честь-то какая! Ажно в брюхе урчит!

– Заврался ты, шиш лесной, – без злобы откликнулся купец, в упор глядя почему-то не на лошадику, а на тебя, Княгиня. – И в горенки не позову, и в подызбицу гнать не стану. И на крыльце отродясь с гостями не сиживал, хучь ссылочными, хучь какими.

Он подумал о своем, невпопад жуя красными, пухлыми, едва ли не девичьими губами.

– Во флигелюшку пойдем, – решил наконец. – Во-он туда. Видите?

Ты увидела.

Между амбаром и торцом избы, в глубине, почти сплошь укрытый глухим кустарником (летом, в листве, и вовсе не разглядишь!) хоронился маленький флигель в один этаж. Не деревянный – редкого здесь красного кирпича.

Да, Княгиня, ты увидела! И еще ты увидела, что лукавый купец и впрямь долго размышлял, прежде чем позвать ссыльных в свою «флигелюшку». Тайные разговоры разговаривать? Вряд ли. Для таких разговоров и изба подойдет, а еще лучше во дворе, без посторонних ушей, вполголоса...

Что ж тебе занадобилось, мил человек, Ермолай свет Прокофьич?!

Всю короткую дорогу – остаток двора, тропка в кустарнике, две ступеньки ведут к двери с бронзовым кольцом – ты старалась не думать об этом. К чему? Само всплывет; а не всплывет, значит, не надо. Вспоминалось другое: салон у мадам Голутвиной, богемные посиделки, и штат-цензор «Воскресного вестника» втолковывает двум младым борзописцам, что у изб не бывает флигелей. Не бывает, и все тут. Борзописцы огрызались – мол, ваша въедливость, не суйте нос, не прищемят! – дурацкий спор ширился, захлестывая весь салон без остатка, пока наконец кто-то не приволок из библиотеки толковый словарь г-на Ахилло, где черным по белому излагалось для сомневающихся: «Изба – комплекс деревянных построек... этимология слова... общее понятие включает в себя до шестнадцати строений, считая флигели».

Штат-цензор «Вестника» на миг заткнулся, обиженно выпил рюмку тминной, заел расстегайчиком – и через минуту «ихняя въедливость» уже доказывал борзописцам, что изба – избой, флигель – флигелем, а вот матросским тесаком никогда в жизни нельзя расколоть человеку череп, как это описано в пиратской повести вышеупомянутых борзописцев. Спор вновь разросся, и кто-то (не тот ли умник, что словарь раздобыл?!) удрал на улицу – искать подходящий тесак...

– Ну, сперва по махонькой!

Дверь под напором мощной пружины захлопнулась за вами.

Странно – в комнату купец гостей сразу не повел. Задержался в куцем предбанничке, нырнул с головой в тумбочку-раскоряку; зазвенел посудой.

Назад выбрался с графином и тремя плохо вымытыми стопками.

Как и разлить-то по стопкам исхитрился, в тесноте? Бог весть!

– С почином, господа ссылочные!

Коньяк.

Мама моя родная! Коньяк, шустовский!

Разом ударило в голову. Не от хмеля, от памяти. Ах, Кус-Крендель, поселение сволочное, здесь ли коньяки пивать?! Купец ты милый, хитрый лисовин, что ж ты еще для нас припас?

– А теперь милости прошу в горницу!

И на пороге, войдя первой, ты едва впервые не узнала, что означает – обморок.

Посредине комнаты стоял рояль. Кабинетный, глянцево-белый, он здесь выглядел не более уместно, чем конголезский гиппопотам в кресле у дантиста. Рояль – и вертящийся табурет из металла перед ним.

– Ерема... – пробормотала ты, плохо понимая, что говоришь и зачем говоришь. – Ерема, сукин ты сын... откуда?!

– Из Мордвинска, – стесняясь, буркнул купец, горячо дыша тебе в затылок. – Позапрошлым летом расстарался. Понимаешь, шиш лесной... сам играть не обучен, а как увидал разок, на аукционе, – так и прикипел душой. Желая, и все тут! Вот и решил: сдохну, а приобрету. Как сюда на перекладных вез, как телеги из грязи на руках выволакивали, как грузчикам-амбалам по ассигнации в рожу совал, за заботу-пахоту – о том сказывать не стану. Было, да сплыло. Ан привез, поставил... поставил!

Он замолчал, сопя.

Высморкался в платок.

– Довез, шиш лесной. Не спортил. Флигельюшку заради него выстроил. А брэнчать некому... и научить некому. Разве што доча моя – так ведь она в Мордвинске, в пансионе!.. Сюда, почитай, раз в год заезжает...

Ты кивнула невпопад.

Прошла к роялю; погладила холодный бок.

Ах ты, мой милый, мой хороший...

– Сыграй, а? – тихо попросили за спиной. – Уважь ради праздничка!

– Что ж тебе сыграть, Ермолай Прокофьич?
Коньяк огнем играл в жилах, веля забыть, забыться, откинуть крышку – и...
Откинула.

Прошлась по клавишам.

«Сыграем в четыре руки?!» – холодным ветром плеснуло ниоткуда.

– А што хошь, то и сыграй. Романс, што ли?.. Душевный...

– Романс?

И пальцы сами вспомнили, а голос едва не сорвался, едва не слетел пуганым петухом, где хотел парить соколом, – но не слетел ведь все-таки!

Правда, Княгиня?

Правда.

Я Вам не снилась никогда.
Зачем же лгать? Я это знаю.
И с тихой нежностью внимаю
Решенью Вашего суда...

Невозможный, небывалый зверь ворочался под лаской твоих рук.

Вибрировал всем своим чудесным телом, и в подушечки пальцев искренне вливалось тепло прошлого, тепло былых дней, когда жизнь сверкала, а не кололась острыми гранями, когда слова сами складывались в песню, чтобы вырваться из клетки небытия...

Чем не взыскательная публика: конокрад, едва не отдавший жизнь за рябую девку да за лешатого парня, – и лихой купчина, раз и навсегда влюбившийся на торгах в белый рояль?!

Найдешь ли лучше?!

...О чувство ложного стыда!
Тебя я стала ненавидеть,
Когда, боясь меня обидеть,
Вы вместо «нет» шептали «да»...

Зверь расстраивался, грустил, норовил заурчать поперек, водил впалыми боками – но ты не позволяла зверю баловать.

Потому что поезд.

Потому что марьяж.

Если б ты еще знала, сумеешь ли вовремя отказаться... Но ты ведь не знала, Княгиня?

...Я Вам не снилась никогда.
Любовь? Я поднялась над нею.
Став и печальней, и сильнее, —
Но в этом лишь моя беда.

Рождая пламя из льда,
Я жгла опоры сей юдоли,
Вы были для меня звездой —
Гори, сияй, моя звезда!..

И все-таки сейчас была твоя минута.

Спасибо, Ермолай Прокофьич! Не знаю, в чем здесь твой барыш, без которого ты и поступка не мыслишь, но...

Спасибо.

...Проходят дни, пройдут года,
Я, может быть, Вас вспомню снова,
Но пусть звучит последним словом:
«Я Вам не снилась никогда!»

Аккорд.
Последний.
Последний?

XI. Друц-лошадник, или Искусительница

Я сравнился с нисходящими в могилу; и стал как человек без силы...
Псалтирь, псалом 87

...Пальцы Княгини вихрем летали по праздничным – невозможно белым и лаково-черным – клавишам. Порхали, танцевали, и тебе уже чудное чудилось, как тогда, у лабаза, в смертной тьме. Будто здесь, в купцовом флигеле, играет целый оркестр, и кружатся пары, блистательные кавалеры обнимают за тонкую талию своих дам, и дамы томно запрокидываются назад, загадочно улыбаясь, и огни сотен свечей отражаются в начищенном до блеска наборном паркете...

Сильна Рашка!

Нет, на рояле и на альгамбрской гитаре она и без всяких финтов играть гораздо! – не разберешь, музыка ли душу бередит, заставляет видеть невиданное, иное ли...

Ты уже знал: случилось! Обратным Хороводом тебя с того света за шкуру выволочь и самой от финта не загнуться – распоследний ветошник уразумеет, в чем дело! Верили не верили, а придется: знать, Рашкина крестница... как бишь ее?! Ленка Ферт! Помнишь, Княгиня рассказывала?! Отыскала-таки Ленка свою крестную Даму! Она где-то здесь, совсем рядом, скорее всего – в Мордвинске, до которого меньше дня езды: с утра выехал – ближе к вечеру уже в городе.

И не тебе спрашивать: что дальше? У магов в законе о таком не спрашивают. Сочтет нужным – сама скажет. Скорее всего Даме Бубен и самой-то пока не до расклада: просто искренне радуется неожиданному подарку.

Жизнь!

Есть ли подарок лучше?!

Ай, морэ, Валет Пиковый! Кому журавль с неба сам в руки валится, а кому и о синице лишь мечтать остается. Нет у тебя бывшего подельщика, некому тебе подарки делать: забили крестничка, как есть, насмерть замордовали. А даже и выживи он, Данька Алыи, ветер в сапогах – не приехал бы за тобой. Нет, не приехал бы, и это не в упрек: о мертвых плохо не говорят. И не думают. Ты и сам на его месте еще крепко поразмыслил бы: стоит ли голову в петлю совать?

А вот Княгинюшкина крестница, видать, отчаянная. Не знать – не могла. Знала. Пускай в Закон покамест не вышла, не выпал жребий – все равно. Раз Бубновая, раз Договорная – знала до последней черточки. Ну пускай иначе: чувствовала, догадывалась... Догадки – они страшнее. И все равно приехала.

Праздник?

За побег нашему брату не новая каторга светит – веревка с варавским мылом.

Панихида?!

Обеим?

...На миг почудилось: не рояль – огромный белый череп распахнул перед Княгиней костяную ухмылку. Скалится зубами-клавишами; вот сейчас раздвинет челюсти пошире – и сомкнет с надрывным скрипом! Поминай, как звали, рабу Божью Рашель Альтшуллер, она же Рашка Княгиня, она же...

Княгиня тоже что-то почувствовала. Ее пальцы, мгновенно став жесткими, резко ударили по клавишам, обрывая мелодию, и женщина коротко крутнулась на вертящемся табурете.

Обернулась.

– Што, струмент плох? – с тревогой осведомился купец. Слово «струмент» Ермолай Прокофьич выговаривал старательно, с каким-то особым уважением.

– Да нет, хорош. Куда как хорош, слов нет. Настроить только надо. – Голос Княгини звучал беззаботно, но на самом доньшке, в глубине пряталась напряженная хрипотца, словно бежавшая с позором жаба вдруг вознамерилась вернуться.

Да и ты уверился по новой: играть на разохшемся, расстроенном рояле так, чтобы твое ухо не уловило фальши... это уметь надо.

Значит, умеет.

Сейчас – умеет.

– Настроить? Это как же?

– Чтоб в лад звучал. Да я сама настрою, не тревожься, Ермолай Прокофьич! – слишком искренне, чтобы это было правдой, рассмеялась Княгиня. – Просто ключ специальный нужен.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.